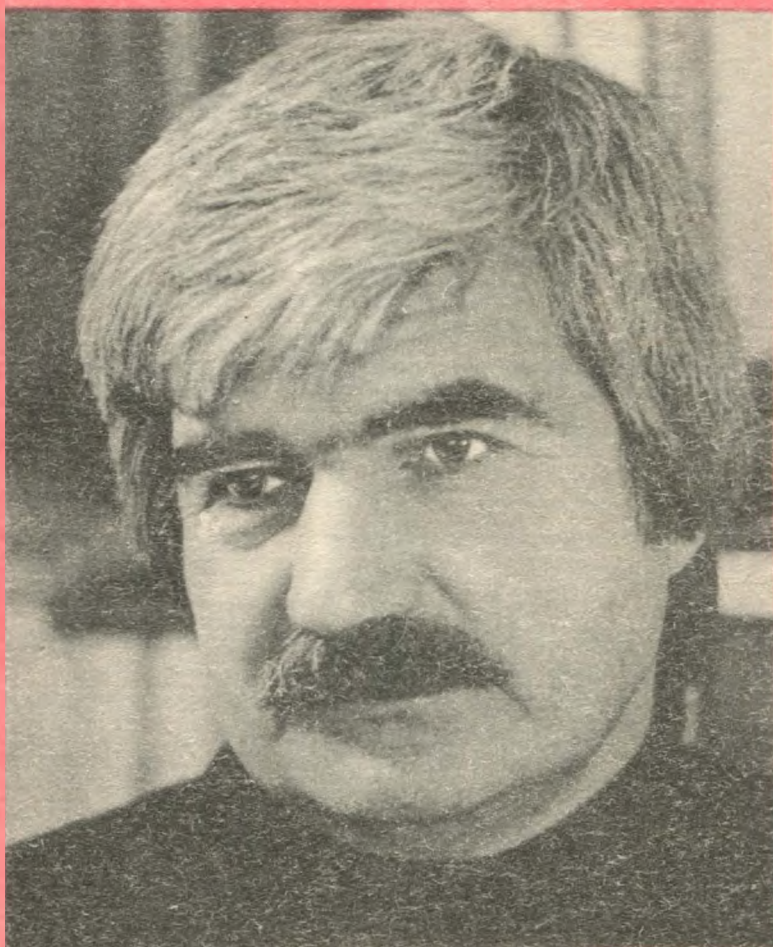


№24(1006) · 1984

РОМАН-  
ГАЗЕТА

ISSN 0131-6044



ГАРИЙ НЕМЧЕНКО  
ПРОНИКАЮЩЕЕ  
РАНЕНИЕ

## ГАРИЙ НЕМЧЕНКО

Гарий Леонтьевич Немченко родился в 1936 году в станице Отрадной Краснодарского края. Детство, проведенное в этой старой казачьей станице, дало впоследствии писателю материал для рассказов и повестей о благодатной кубанской земле, о сложных и трудных судьбах ее жителей в тяжелые военные и послевоенные годы.

Писать начал рано. Один из первых его рассказов был опубликован в 1955 году в газете «Московский университет», когда Гарий Немченко был студентом факультета журналистики.

Первая книга вышла в 1961 году в Кемерово. В это время Г. Немченко был сотрудником многотиражной газеты «Металлургстрой» на ударной комсомольской стройке Западно-Сибирского металлургического завода под Новокузнецком. Больше десятка лет, проведенных на этой стройке, надолго определили для Г. Немченко круг его творческих интересов. О сибиряках им написаны романы «Здравствуй, Галочкин!», «Пашка, моя милиция», «Тихая музыка победы». Сибирские рассказы и повести вошли в сборники «Конец первой серии», «Зимние вечера такие долгие», «Я в Москве и хотел бы вас видеть», «Отец», «Красный петух плимутрок». По некоторым из этих произведений поставлены кинофильмы.

Отдельные рассказы писателя переводились за рубежом.

В 1980 году за сборник повестей «Скрытая работа» Г. Немченко был удостоен премии ВЦСПС и СП СССР за лучшее произведение о рабочем классе.

# РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927 г.

№24(1006)  
1984

ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР  
МОСКВА

## ГАРИЙ НЕМЧЕНКО ПРОНИКАЮЩЕЕ РАНЕНИЕ

Роман

### ПРИСКАЗКА

Есть у вас старый друг — министр?.. У меня есть.

Мы с ним учились в одной школе с первого по десятый, правда, в разных классах. Я был «ашник», он — «бэшник». В восьмом меня избрали комсоргом школы, а его — председателем учкома, и тут мы, что называется, сошлись. Мало того что вместе часами заседали, рядом держались на вечерах, мы еще и перемены прихватывали — бежали, бывало, через огород к моей бабушке разжиться чем-либо вкусеньким.

Бабушке было уже далеко за восемьдесят, в нашей станице она еще застала те времена, когда девки, боясь похищения, ходили по воду в сопровождении казаков, и теперь, завершая жизненный круг и потихоньку возвращаясь в свое стародавнее, она подозрительно поглядывала на будущего министра, почти каждый раз отзывала меня в сторонку и опасливым шепотом спрашивала: «Этот азиат-то твой, он хоть — мирный?..»

Мне казалось, что дружок мой все слышит, я делал страшные глаза и только с укором произносил: «Бабушка?!» — «Ладно, — ворчала она, — лад-

но!.. Уже и спросить низзя!» И совала нам в руки горячие пирожки с фасолью — таких сладких я никогда потом уже и не ел...

Алан был осетин, отец его работал в госбанке, а мой, вечный районный путешественник, занимал тогда очередную номенклатурную должность: уполноминзаг. Уполномоченный Министерства заготовок.

Когда умер Сталин и на линейке вся школа навзрыд отплакала, мы с Аланом сбежали с уроков и отправились в военкомат. Мы считали, что наша страна теперь в опасности, и потребовали у военкома досрочного призыва в армию. Военком сказал что дело это слишком серьезное и ему надо кое с кем проконсультироваться. Вечером отцы дали нам с Аланом хорошенькую взбучку и в конце концов вырвали у нас вынужденное обещание не валять дурака, а серьезно готовиться к выпускным экзаменам — оба мы «тянули на золото».

Враги так и не воспользовались моментом, так и не напали на нас, и мы с Аланом постепенно перестали ездить в соседнюю станицу, чтобы тайком послать оттуда письмо уже в Министерство обороны. Жизнь наша входила в обычную колею, и, чем меньше времени оставалось до лета, тем жарче разгорались у нас споры, куда пойти после школы.

Учительница литературы Юлия Филипповна, удивительная женщина из семьи старых ленинград-

ских интеллигентов, вселенскими ветрами занесенная в глухое наше Предгорье, не мыслила для нас иной судьбы, нежели на попрание словесности. Каждую пятницу мы собирались у нее дома, и она открывала свои девичьи альбомы со стихами Балльмонта и Апухтина, а после все терпеливо слушали мою повесть о советском капитане дальнего плавания Иванове и негритенке Гарри, несчастном моем тезке, встреченном нашими матросами около мусорной свалки в одном из самых бедных кварталов Нью-Йорка... Алан был поближе к родимой земле — он храбро читал пьесы из жизни легендарных осетинских богатырей... Конечно же мы были «словесники», чего там — вспомнить все наши горячие увлечения, заумные споры, бессмысленные остроты, которые казались тогда верхом изящества.

«Что такое авантюрист, слушай?! — по-кавказски жарко кричал в парке Алан. — Это: а вон — турист!» И показывал пальцем на розоватую под последними лучами солнца далекую макушку Эльбруса. «Какой лучший из миров?» — громко спрашивал кто-либо другой из нашей компании. Хором ему отвечали: «Книжный!..»

Но это все, как говорится, наносное, это так, для разрядки... А жизнь свою каждый из нас посвятит чему-то, ясное дело, самому важному.

«Куда ты собрался?! Какой тебе МАИ, если у тебя очки — минус пять! А там одни чертежи». Но Алан твердо решил стать авиаконструктором. «Какой из тебя философ?.. Ты должен стихи писать!» Но я не сомневался, что мое призвание — двигать вперед философскую науку.

В черных вельветках на молнии и в клешах, каждая штанина которых стояла исправной дворничьей метлы, с чемоданами, перетянутыми брючными ремнями, и с пузатыми авоськами краснощеких кубанских помидоров летом пятьдесят третьего мы с Аланом приехали покорять Москву.

Он поступил в МАИ. Я — в университет. На философский.

Уже после первого семестра он надел очки на единичку больше. Я схлопотал «неуды» по высшей математике и по коллоидной химии и остался без «стипушки».

И в сентябре пятьдесят четвертого дорожки наши снова сошлись — на первом курсе факультета журналистики.

«Что такое авантюрист? — весело крикнул мне Алан в старом университетском дворике на Моховой. — Это: а вон — турист!» И кивнул за ограду, мимо которой шел увешанный фотокамерами человек в тирольской шляпе с пером — может, и в самом деле первый зарубежный турист...

После учебы я распределился в Сибирь, работал в многотиражке на большой стройке, но довольно быстро ушел «на вольные хлеба» и там же, в поселке под Новокузнецком, на Антоновской площадке, принялся писать длинные романы «о железных» прорабах и о матерях-одиночках — их временных женах.

Алан поставил в Орджоникидзе несколько пьес,

снял кино, вот-вот у него должен был выйти большой роман, но работу он не бросал, а все поднимался потихоньку по служебным ступенькам и поднимался, пока... Но с этого я ведь начал: есть у вас старый друг — министр?.. У меня есть.

Министр из Северной Осетии — Алан Салтанович. Могу дать служебный телефон. Насчет домашнего сложнее. Зачем же обремененного бесконечными заботами человека беспокоить еще и дома? К тому же, может статься, дома его и нет. С ансамблем «Иристон» на этот раз полетел в Мексику. Или сидит в столице, готовит Дни осетинского искусства...

Остался ли он, несмотря на высокий пост, своим парнем? Остался, да. Ну правда, не без того, чтобы...

Однажды позвонил из гостиницы «Москва», сказал, что в номере у него стоит ящик яблок, но сам он завезти их не сумеет, дела... Может, я подскожусь?

С ящиком мы вышли потом из гостиницы, стали ловить такси — нам оказалось по дороге, — но время было предвечернее, самый разъезд, автомобили неслись мимо и мимо. «Знаешь, как плохо приходится в Москве без машины!» — пожаловался министр, и лицо у него сделалось скорбное...

Тут я ему и врезал: «Ах ты! — говорю. — А как же другие без нее — всю жизнь?»

Но вообще-то мне было жаль его: только что в очередной раз отболел, опять еле-еле сбили давление... Нам ведь уже за сорок! Ко всему уже здесь, в Москве, угораздило его простудиться: южный человек! Что такое хорошая парилка с можжевеловым веничком, и понятия не имеет. Стоит теперь с пылающими щеками, вяло приподнимает руку навстречу этим оторвиголовам, каждый из которых мчится как на крыльях конечно же в родной таксопарк...

И пока он без всякой надежды тянул руку, я пошел мимо замерших в ожидании около гостиницы разнокалиберных черных «лимузинов»: «На пятнадцать минут, ребята!.. Всего на пятнадцать». Кто-то в конце концов решился, заломил, естественно, как за всю смену, но уж больно мне хотелось прокатить Алана в приличествующем его должности автомобиле...

«Чайка» была довольно старая, но все же «Чайка», в просторном салоне мы уместились рядышком на заднем сиденье, и я не утерпел, стал Алана потихоньку подначивать. Издалека.

Вот, говорю, знакомые киношники рассказывали, как они снимали в Сухуми, и у них была «Чайка» — так сказать, реквизит... Так один южный человек — что? Договорился с шофером, чтобы тот каждое утро подъезжал за ним к дому и отвозил на работу, а вечером привозил обратно. В один конец — четвертной. Правда, шоферу приходилось всякий раз потом долго ждать, пока наниматель, скажем так, стоя одной ногой на подножке и держа руку на дверце, громко — чтобы вся улица слышала — последние распоряжения отдает утром жене, а вечером соответственно — подчиненным... Зато вся группа не знала недостатка в «Киндзмараули». Может,

говорю, и мне сейчас надо с нашим водителем договориться, и в следующий раз, когда ты приедешь в Москву, он тоже будет приезжать за тобой утром и вечером, а?.. Да и мне, говорю, давно бы не мешало разок другой к какому-либо издательству подкатить на такой вот машине... Глядишь, и пошли бы дела мои повеселей!

Когда мы остановились и я расплатился, слушающий нас вполуха и деликатно посмеивавшийся водитель посерьезнел и с дружескою заботой сказал мне: «Оставьте ваш телефон — я ведь не один на ней... Надо поговорить с напарником. Против он, я думаю, не будет, но, как говорится, для порядка...»

Напрасно я пробовал убеждать шофера, что я шутник с детства. В конце концов он черкнул на клочке и сунул мне свой телефон. Шутки шутками, а там, глядишь, — мало ли?

И когда он уже отъехал и солидный Алан, как в школьные наши времена, хлопнул себя ладонью по коленке и посреди тротуара согнулся от смеха, я с удовольствием и с нежностью к нему аишный раз понял, что с другом моим все в порядке...

Но это присказка. Более того: присказка к присказке. Может такое быть?..

Сама присказка начнется с того, что три года назад я впервые отправился в Кисловодск, тоже с давлением, тоже со стенокардией. Туда позвонил мне из дома Алан: человек я в конце-то концов или нет?.. Могу я заехать потом в Орджоникидзе? Это не Москва, да, — машину он, конечно, пришлет...

И единственное из условий, которое мне удалось отвоевать, было следующее: несмотря на известное всему миру осетинское гостеприимство, жить я буду в гостинице. Мы художники. Мы народ такой... И вдруг оно придет ко мне ночью? Вдохновенье, естественно. Кто же еще?

Стоял самый конец апреля — теплынь и сушь. Деревья уже отцвели, но листья еще не было, и темные штрихи веток лишь подчеркивали изумрудный окрас полей да голубизну отодвинутой солнцем дали.

В размытой сини высоко над Пятигорском кувыркался красный спортивный самолет. Набирая скорость, несся к земле, где-то меж коричневатых холмов выходил из пике и снова очертя голову бросался вверх.

По обеим сторонам черного от резины асфальта, чуть съехав на обочину, замерли легковые автомобили, и возле них кучками и по одному, задрав головы, стояли усатые мужчины в громадных кепках, которые на Кавказе называют «аэродром». Может, думали, что лихому летчику в красном самолетике вдруг и в самом деле понадобится запасная полка?.. Тут-то их безразмерные кепари и пригодятся.

Таймураз, молодой шофер министра культуры, не остановился, даже не сбросил газ — вверх поглядывал только искоса. И мимо серых, лишь начинающих наливать зеленью садов Кабарды, мимо подметенных, с каменными оградами аулов, мимо уже слегка посветлевших, уже вернувшихся в русло рек с бескрайнею галькой по отлогим подсыхающим бере-

гам, наша «Волга» неслась так, словно Таймураз участвовал в одном ему известном пробеге.

Кое-где на молодой травке рядом с дорогой стояли фургоны автолавок, курились дымки, и поверх опущенного рядом с водителем бокового стекла ветер швырял внутрь горьковатый запах горелого жира.

«Таймураз, может, по шашлычку?» Очень мне хотелось остановиться, потоптаться возле дымка — пообщиться.

Он многозначительно говорил: «Надо терпеть».

Потом по обеим сторонам потянулись ровные поля яркой яичной желтизны — цвел рапс, а где-то далеко за полями, справа, вдруг проявились синие горы с облитыми молочной белизной снежными пиками. Мелькнул пограничный столб с названием республики на просторном щите, и Таймураз резко затормозил: посредине трассы, на белой осевой линии, стоял человек в расстегнутом сером плаще и в шляпе. Левая рука его была в кармане пиджака. Правую он тянул ладонью к обочине.

Наша «Волга» послушно съехала с шоссе и через пологий кювет вынырнула к подножию невысокого холма. Здесь на крошечной поляне стоял «газик», на капоте у которого была раскинута самая настоящая скатерть-самобранка со всеми уже возникшими на ней припасами. Около «газика» держались рядом двое молодых мужчин. У одного в руках был поднос, на котором вместе с осетинским пирогом из сыра — олибахом — и вареною курицей стояла бутылка «Российской» с надетым на горлышко перевернутым стаканом. У другого — пузатый кувшин кукурузного пива и с серебряным краем рог.

Пока вернувшийся от дороги мужчина в плаще и в шляпе, называя меня по имени-отчеству, как старому знакомому долго жал руку, мягко говоря, что министр, к большому огорчению, болен и потому встретить друга на границе Осетии попросил их, своих товарищей, я судорожно старался припомнить, что бы такое можно было поставить себе в заслугу перед этой землей, на которой теперь стоял... Что?!

Написал как-то очерк о знаменитых с дореволюционных времен джигитах Кантемировых. Работалось мне над ним в охотку, получился вроде бы ничего, с братьями Ирбеком да Мухтаром я дружу до сих пор и, когда они выступают в Москве, обязательно хожу на них посмотреть... Я ведь по матери — казак, я лошади в душе. Тайный...

Это и все? Больше, пожалуй, как ни старайся, не наскрести.

Или все дело в этом слове, которое на Кавказе окружено словно магией: гость.

Замотанный в Москве ежедневной суетой, задерганный бесконечными звонками, пристыженный измученным видом жены, которая чуть ли не каждый день после работы собирает на стол в моем кабинете или покорно терпит наши громкие заплоточные застолья в маленькой кухне рядом с комнатой, где она спит; молча страдающий от того, что в ранние часы утра, когда мне обычно лучше всего пишется, к рабочему столу не пробраться из-за окруживших его раскладу-

шек со спящими моими товарищами; мечтающий заметить хорошего знакомого, администратора какой-нибудь хоть самой завалющейся гостиницы — сколько я потом, вспоминая Осетию, говорил себе: и для тебя, несмотря ни на что, слово это всегда должно оставаться священным... Начать с того, что все мы, ну, все, какие бы самые удивительные различия ни отмечали нас, — разве мы не гости на нашей теплой и, спасибо, все еще пока зеленой Земле?

А тогда были и длинные, полные и уваженья, и собственного достоинства тосты, и была празелень долин с бредущими по склону серыми овцами, и был каменный минарет, на который когда-то взбирался Пушкин, и была станица Змейская, в новых кирпичных домах сохранившая облик старых казачьих куреней, — значит, если мне ее с таким желаньем показывали, мой друг говорил, откуда я родом, значит, сам не забыл тот край, который нас с ним взрастил...

Сняв шапки, стояли мы около пушек с длинными стволами, замерших на бетонных площадках в парке рядом с дорогой в узкой горловине Эльхотовского ущелья: здесь в сорок втором остановили немцев. Дальше они уже не прошли. Здесь сами горы знают, кто друг и кто враг, хоть и не могли они в ту грозную пору прикрыть собой всех — сколько тут вместе с другими полегло осетин!.. Ничего, ничего, мой друг Алан Салтанович не будет в обиде, ничего, что немножко обождет, — может, мы проскочим на один из отрогов, там до сих пор еще есть ямки от партизанских землянок. Наш главный встречающий, заместитель председателя Кировского райисполкома Изатбек Батяев двенадцатилетним мальчишкой был у них в отряде связным...

И мы поехали, ничего. И долго сидели потом на краю поросшей кустами терна глубокой выемки и в память о тех безусых ребятах, кому в борьбе с вымуштрованными в Альпах молодцами из «Эдельвейса» своими жизнями пришлось расплачиваться за каждую мало-мальски приметную родную вершину, пили горькое осетинское пиво...

Ничего, что я стал вдруг об этом?.. Вы поймете?

Несколько лет назад жарким солнечным днем я стоял в Москве у метро «Новослободская», ждал своего троллейбуса... Настроение у меня было благостное, дружелюбно оглядывал небольшую толпу на остановке, скользил глазами по лицам, и вдруг волосы у меня на затылке приподняло колючим холодком, ожгло шею, кольнуло остренько кожу между лопатками... То был удивительный страх: мне казалось, такого я никогда еще не испытывал и вместе с тем совершенно ясно ощутил, что он тайно жил во мне очень и очень давно...

Рядом стоял высокий, с открытой шеей белобрысый парень в серой, мышинного цвета, шапке с длинным козырьком. Он был в распахнутой куртке, на крутом плече висел кожаный кофр.

В троллейбусе я нарочно стал рядом, улучил момент: «Вижу, вы с камерой. Наверное, фоторепортер?.. Мы почти коллеги, я — литератор. Простите профессиональный интерес: откуда эта шапка?» Он улыбнулся дружески — такой симпатичный парень!

«Снимали фильм о войне на Кавказе, о егерях... Я был помощником оператора. Понравилась — выпросил одну у костюмерши. Тут на ней металлический цветок был...» — «Эдельвейс?» — «Ну да, цветок я снял, а так ношу, говорят, мне идет, а что?»

Я сказал, что со времен оккупации не видал вблизи этих мышинных шапок. Он рассмеялся: «Значит, похоже?.. А вы еще помните?»

В августе сорок второго в бабушкином доме егерь стояли у нас несколько дней, потом однажды рано утром уехали. На велосипедах. На стенке остался висеть забытый одним из них солдатский медальон. Тетка, которая распорядилась в доме, строго-настрого запретила всем и близко подходить к медальону и, уходя с нашей мамою отрабатывать немцам, в качестве охраны приставила к нему дочь Юльку, постарше нас с братом. Проблему охраны Юлька решила очень просто: нацепила медальон себе на шею и с ним весь день гайдала по улице...

Она так и красовалась, когда уже перед вечером у наших ворот спрыгнули с велосипедов двое черных от пыли, шатавшихся от усталости егерей. Хозяин пропавши сразу увидел Юльку и первым делом рванул с нее медальон. Второй, больно поталкивая куда придется дулом коротенького автомата, быстро собрал нас вокруг бабушки, велел стоять смирно, отошел на несколько шагов и дал над головами длинную очередь.

То ли со страху, а то ли чтобы умиловить их, бабушка бросилась в сарай и вынесла кувшин молока, протянула тому, чей был медальон. Он не отрываясь выпил чуть ли не весь кувшин, отер грязный подбородок и вдруг заплакал. Может, рад был, что пропавшая нашлась. Может, отчего-то еще...

Когда они уехали, когда отплакала Юлька, которую чуть не убила, вернувшись с работы, суровая наша тетка, мы понаходили в спорыше у ворот гильзы и расставили их рядом на подоконнике. Двенадцать гильз... Помню, как они едко пахли. Я помню!

Выходит — помимо воли, если мороз по коже. Казалось, давно позабытый страх сорок второго года...

Поэтому заждался нас с Таймуразом мой старый друг Алан. Поэтому немножко остыл олибах, который испекла его жена Оля, статная и красивая, с голубовато-серыми глазами русачка.

Министр был в идеальной, с дорогими запонками, рубашке с расстегнутым воротником и в вылинявшем, словно в студенческие наши времена, трико из хэбэ. Посмеиваясь из-под очков, сперва он предложил тост в честь покровителя путников доброго бога Уастарджи, который, спасибо ему, помог гостю благополучно добраться к порогу дома старого друга...

Поздно ночью по безлюдным, уже погрузившимся в сон улицам шли мы в гостиницу «Владикавказ». Из темноты парка на берегу Терека сквозил слитный шум воды тонко доносились пугливые голоса павлинов. Под светом стоявших на мосту фонарей река была как черное серебро. От ломких, с крутыми горбами, волн наносило снеговым холодком.

Ощущая затылком тепло гостиницы, я постоял немного в дверях, приподнятой ладошкой еще раз пома-

хал моим оглянувшимся друзьям и вошел в холл...

Видели вы, конечно, и не раз, так или иначе выполненные панно с изображением карты Родины?.. Такое вот всем знакомое панно, только очень большое, может быть, три на шесть, а может, и чуть побольше, висело в холле гостиницы, и, как бы желая отметитья на новом месте, а заодно взглянуть на давно знакомые города, в которых когда-то жил или просто бывал, я остановился напротив, первым делом нашел Орджоникидзе, а потом поднял глаза на Эстонию, на Таллин и привычно заскользил взглядом вниз и направо...

Панно было красочным и рельефным, там, где положено быть большим городам, висели крупные, с доброй чеканкой бронзовые кругляши — каждый со своею символическою. Минск с неизменным зубром. Хлебный, пшеничный Киев... С горными пиками над высоковольтными линиями, с виноградными лозами Кавказ. Средняя Азия. Сибирь... Тут столиц уже не было, тут за бронзовый, с чеканкою, герб надо было как следует поработать, ясное дело — повкальвать. Заводы Омска. Нефтяные вышки Тюмени. Потом сразу — Новосибирск, за ним Красноярск, Иркутск.

Не было моего Новокузнецка. Не было Кемерова над ним. Не было Томска.

Зато посреди бронзовых сосен и елей красовался гигантский самосвал с заданным кузовом. Под кругляшом была надпись: Максимкин Яр. Что за чудо?

Я потоптался под затмившим Кузбасс — это индустриальное-то сердце Сибири! — Максимкиным Яром и не нашел ничего лучше, как подойти к дежурному, который подремывал за высокой стойкой. «Там у вас на карте — Максимкин Яр. В Западной Сибири. Не знаете, что за город?»

Пожилой дежурный коротко спросил: «Сам откуда?»

Не захотелось говорить, что из Москвы. Не потому, что я недолго в Москве живу. Нет. Просто по духу я, знаю, не москвич. Я с Антоновки, что под Новокузнецком. Там свой дух. Поверьте, особенный.

«Я — сибиряк!»

Он скучно зевнул: «Тогда тебе лучше знать, дорогой!..»

Тоже правильно.

Утром, спустившись позавтракать, я первым делом подошел к панно и опять хорошенько вгляделся, опять съел глазами этот странный Максимкин Яр. Когда за мною заехал Алан, взял его повыше локтя, и к карте мы подошли уже вдвоем.

«И что ты хочешь этим сказать? — весело спросил Алан. — Мне, например, все ясно: Новокузнецк твой в Осетии не знают, а Максимкин Яр — вот он, пожалуйста!»

Друг тоже — посыпал соли на рану...

«Я тебя очень прошу, — сказал я. — Хоть это все не по твоей части, нельзя ли выяснить, почему он попал на эту карту?..»

Алан ткнул мне в грудь раскрытой ладонью: «Ты что, серьезно?.. Не знал, что ты такой ревнивый!»

Но я его в конце концов, что называется, долавил.

Ладно, пообещал Алан, так уж и быть, мол, — выясним!

Он все еще как следует не оклемался, ему посидеть бы дома, да только куда там, разве настоящей осетин, будь он, что называется, при смерти, пустит на самотек такое ответственное дело — ваше знакомство с его столицей, с его родною землей?.. Ему ну просто позарез необходимо, чтобы вы увидели ее такую, какой видит он. Чтобы полюбили хотя бы приблизительно так, как он любит.

И почти целый день мы провели в поездке по городу и окрестностям. Таймураз, поведав подбородком на прочные ворота, которые в старые времена оказались бы честь какой-нибудь средневековой крепостенке, нет-нет да и подбрасывал где-либо на окраине: «Вот, считается, современный дом. Такой, чтобы в подвале автокран мог свободно развернуться.» — «А зачем автокран в подвале?..» — «А бочки переставлять?!»

Алан был больше озабочен другим.

«Здесь лежит наш Исса, — говорил, когда на кладбище мы стояли около украшенной цветами могилы маршала Плиева. — Не буду тебе много рассказывать, ты просто не можешь о нем не знать. Так? Так. А теперь — сюда. Кто такой Мамсуров, ты слышал? Я тебе еще не рассказывал? Легендарная личность. Интернационалист. О нем, погоди, еще будут говорить. Думаешь, с кого писал Хемингуэй своего главного героя в романе «По ком звонит колокол?» Роберт Джордан, да. Так вот это Мамсуров наш. Мы с ним, как вот с тобой сейчас, не один раз беседовали — я книгу о нем хочу... Пристал, говорит, один журналист, американец, буквально проходу не дает. В Испании. Мол, надо поговорить. А Мамсурову было до того ли? Ночей не спал. А потом вдруг необычное поручение: три вечера посвятить американскому писателю Хемингуэю. Пришлось все срочные дела бросить... Каждый вечер Хем приходил к нему с картонной коробкой вина. Восемнадцать бутылок. И сам к утру все это выпивал. Но ручку не выпускал, нет. И знаешь, о чем он больше всего спрашивал? Мамсуров говорит, просто замучил: а как пахла пыль, когда вы лежали перед мостом?.. А как трава шелестела? Как звезды, слушай, мерцали?.. Как?! А человек меньше всего был готов отвечать на эти вопросы. Но отвечал, конечно, как мог. Понравился ему Хемингуэй. И он старался. Зато потом знаешь что?.. Он все это потом нашел в романе. И как пыль пахла. И как светила луна...»

В гостинице поздно вечером я вынес кресло на балкон, поставил так, чтобы мне было видно и черный, в блестящей чешуе, Терек, и темный, с редкими огнями, парк за ним. Сидел и слушал опять, как тонкоголосо кричали в парке павлины...

Когда-то дома у нас жили павлины.

Сперва отец привез из Ставрополя самца — Павлика. Подарил ему знакомый старик. Потом самцу нашли пару — Павлинку. Когда у Павлика началась линька, он носился по огороду между рядами кукурузы, продираясь сквозь кусты винограда, терся краями хвоста о яблони, и всюду за ним оставались темно-зеленые, с ярко-синим глазком на конце, почти

метровые перья. Павлинка сновала вслед за ним и сорвала своими серыми коротышками. Их мы даже не подбирали.

Иногда, словно для того, чтобы облегчить нам с братом работу, Павлик останавливался посреди двора перед каменным крыльцом, на теплых ступеньках которого мы грели вечером свои цыпки, задирали хвост, расправлял его веером, надувался и начинал трястись, как заводной, — сперва потихоньку, маленькими толчками, а потом все сильнее и сильнее... Хорошо помню, как туго шуршали при этом, как молодо поскрипывали крепкие перья, как неслышно падали в пыль вокруг него те, что уже отжили свой срок.

Павлинка терпеливо стояла неподалеку, покорно ждала.

Наши соседки, что собирались с семечками на другой стороне улицы, в который раз начинали вслух жалеть серенькую Павлинку: «Это ж она его, старые люди рассказывают, принарядила перед свадьбой, старалась, бедная, старалась, зато сама не успела: двенадцать часов ударило, а она в чем была, так, бедная, и осталась...» И вздыхали. И дружно помалкивали. И медленно возвращались к своему обычному разговору: о том, куда и кто из баб ездил на розыски, куда кто писал, о ком недавно снова был слух, а о ком не подтвердился, недаром цыганка говорила: миленькая, не жди!..

Нам повезло, да еще как!.. Ничего, что отец все еще ходил в темных очках и с тросточкой... Как я понимаю теперь, уже издавека, то были лучшие наши времена: они с матерью жили дружно, еще не начали припоминать обиды и ссориться, мы хорошо учились и были здоровы, и у нас подрастала маленькая, родившаяся перед самым концом войны сестренка, и по двору гулял красавец Павлик, на которого приходили посмотреть облюбовавшие нашу станицу, всего повидавшие курортники-бакинцы...

Поздно вечером Павлик первый взлетал на крышу дома. Царапая когтями по железу, поднимался на гребень и долго там умащивался: по тому, в какую сторону грудью он садился, мы узнавали, откуда завтра будет ветер. Перед дождем он несколько раз криду голосил протяжно и жалобно. Если ночью открывали нашу калитку или за цветами перелезали через забор, Павлик вскрикивал коротко и резко. Поэтому мы никогда не держали собаки: зачем собака, если у нас был Павлик, такой умница?..

Вернуться бы мне в родительский дом!

И я пошел бы в заготзерно или на мельницу, где стаями бродят павлины, и там сказал бы: помните, мы вам давали птенчиков?.. Дайте теперь мне, пожалуйста, пару маленьких павлинят!

И павлины бы снова ходили у нас во дворе и бегали между редкими теперь, полусохшими бодылками, и мама, глядя на них, может, вспомнила бы хорошие наши времена и хоть чуть отошла бы от обид, от горестей, от утрат... Я бы раненько утром просыпался от крика павлинов, садился бы за стол, за которым когда-то решал еще задачки по арифметике, и очками придавливал чистый, как детство, бумажный лист... Почему это невозможно? Почему?!

И тут не виноваты и ни я, и ни мама, виновата жизнь — мастерица завязывать узелки...

А может, мне и в самом деле не надо было ехать в Сибирь?

Когда мы заканчивали факультет и нам предстояло вот-вот распределяться, мой дружок Йозеф Саси, венгр, жалея меня, советовал: «Конечно, если ты не можешь жить в Будапеште, то лучшее, что тебе останется, — это Москва... Самый хороший вариант, да. Не хочешь оставаться в Москве — возвращайся на свою Кубань. Понимаешь, что я хочу подчеркнуть: на свою. Там твои корни. Для писателя это главное. А что ты будешь делать в Сибири? Изучать новый край? Поедешь опять учиться?»

Рассудительный Йожка!.. Уже, выходит, чуточку постыл. А когда мы после четвертого курса ехали с ним на практику в Кемерово, я не мог оторвать его от окна. Простаивал сутками. Если бы не его стайерская закалка, если бы не эти ежеутренние пробежки на Ленинских горах, после которых он возвращался в общежитие с мокрым пятном на фуфайке между лопатками, не знаю, как выдержал бы! «Спать пора, Йожка!..» Он отмахивался: «Выплюсь у себя в Будапеште! — и в который раз не без ехидцы начинал рассуждать: — Теперь-то я вижу, что ты настоящий русский человек. Весь этот простор тебе... как у вас ворится?.. Как так и надо! А ты можешь понять мадьяра?.. Мы уже двенадцать Венгрий проехали... А сколько еще?»

На обратном пути было то же самое, опять голос у него был и радостный, и немножко печальный: «По этой дороге ехали когда-то предки мадьяр. Почти две тысячи лет назад. Только дорога в то время была, наверно, похуже, а?»

Ну вот, а теперь он, видишь ли, весь из себя — с головы до пят — европеец. И главный город Европы — это, конечно, Будапешт...

А во мне, наверно, все еще бродила кровь моих прадедов. Все еще играла казачья вольница.

И куда это, казалось бы, — с Кубани? От добра добра не ищут. Чего его искать? Оно рядом. На нем стоим. По нему ходим. Вон какие дорогие стали теперь дома, люди едут сюда и едут... Одни работали где-то на шахте в Норильске и потихоньку дожидались кооперативной квартиры в Армавире. Другие, откуда-нибудь с Колымы, сразу платили любую цену. Третьим, приехавшим на разведку из Ахал-Калаки, хоть как-либо зацепиться, а там... А кто-то, не сумевший нажить и лишнего рублика, соглашался буквально на все: лишь бы для детишек его, которым в другой стороне не климат, для детишек с личиками, похожими по цвету на картофельные ростки из подпола, — побольше яркого солнца, побольше вольного воздуха... И всех принимала, всех утешала, всем давала надежду богатая и теплая моя родина.

А у тебя, выросшего в Предгорье, в доме, с крыльца которого по утрам видать розовую макушку Эльбруса, сердце отчего-то щемит и щемит... Хотя все это прекрасно, тебе не этого всего надо: не тепла, и не сытости... И тихонько звучит почти неслышный хруст



корешка. И вот уже оторвался от родимой земли и покатылся, покатылся, покатылся!

Это лишь вчера ты имя бога узнал — Уастарджи. А покровителем твоим он стал уже так давно!

Разве в родном Предгорье, где живет столько титулованных стригалей, в том числе чемпионы мира, не ждут тебя на шумный праздник пастухов с щедрой ярмаркою посреди просторного колхозного двора? С огненным шулюном, после которого усы твои, каким их мылом ни мой, неделю будут пахнуть барашком? С протяжными печальными вскриками из самой души, старинными песнями, которым осипшими от саасада голосами еще подтягивают дедки с Георгиевскими крестами на новенькой, подаренной только что отслужившим внуком солдатской рубашке... А потом с однокашниками, зоотехниками, врачами да агрономами, мимо поросших ковылюю древних курганов мы поедем к развалинам тысячелетнего храма, от которого осталась только каменная апсида, на городище рядом с ним, открытое нашим учителем по истории Ложкиным. И мимо бьющего фонтаном целебного источника, вокруг которого растет почти метровой зверобой с крупными, как у ромашки, цветками, мимо крошечного озерка, к воде которого ранними, еще задолго до рассвета утрами длинноухие зайцы наклоняют мордочки рядом с лисицами и шакалами, мы поедем в Кувинское ущелье. Ловить форель.

Знаете, как называются станицы вокруг родной моей станицы Отрадной? Называются они так. Удобная. Спокойная. Бесстрашная. Надежная. Упорная. Благодарная. А?!

Но ты вдруг покупаешь билет на самолет, который уносится совсем в другую сторону... И через пять часов лета он полчаса еще будет снижаться над сизою газовой пеленою, под которой прячутся черные пики терриконов, закопченные бока металлургических цехов, разветвленные ямы действующих ныне карьеров и незаросшие провалы заброшенных, — тот самый «лунный пейзаж»... Снижаться над городами, которым эта братва — оторви да брось — монтажники дала свои особенные названия. Нью-Кузнецк. Это ясно. Рио-де-Кримоново. Значит, Кемерово. Лос-Анжеро-Судженск. То, что на самом деле без «Лос». И Киселевск — то благословенное место, где сливаются два бесконечных города, Киселевск и Прокопьевск, и где на весьма условной, проходящей шоссейкою, огородами, горницами и баньками границе всякий после трудов праведных отдыхающий человек может лежать себе сколько угодно, потому что любой сержант милиции — хоть с той, а хоть с другой стороны — поклянется вам: это — чужой!..

Если полетите в конце квартала, когда Кузбасс поднажимает, а тем более в конце года, и с погодой вам крупно не повезет: день будет слишком тихий и солнечный — самолет пойдет на запасной аэродром, и заодно вы посмотрите еще один славный сибирский город — Борнеаполь. То есть, конечно, Барнаул.

Штука вообще любопытная, и правда: на знаменитом нашем Запсибе, начиная со Славы Карижского, почти все комсорги были всегда кубанцами. После Славы — Витя Качанов, краснодарец. Коля Шевчен-

ко — то же самое. А Коля Тertyшников? А Дима Богачев? А Валера Романов? А Саня Азаров?.. Но справедливости ради надо сказать, что больше всего крови попортили им тоже кубанцы, особенно ребятки — палец в рот не клади — из Антоновской да из Западной автобаз. Почти все записные «ходочки», все крикуны-правдоискатели, готовые тут же, чуть-чуть прораб не уважил, «задрать ящики» на своих самосвалах... А кто был первый милиционер на Антоновской площадке? Вся наша Советская власть на первых порах — Паша Луценко, землячок. А кто ему больше всех насолил? Было дело, жаловался по-дружески: тоже они, станичники.

Этим своим воспоминаньем я вовсе не хочу, так сказать, фальсифицировать историю и провести хитрую мыслишку, что Запсиб построили кубанские казаки, нет... Не о том речь.

На открытой веранде в зимней сырой Гагре, низко клонясь над тарелкою с хашем, исходящим духовитым парком, Юрий Павлович, Юра Казаков, говорил, заикаясь больше обычного на чуждом для его чуткого уха слове: «С-старичок!.. Тебе надо забыть, что такое — 3-з-запсиб. И станешь хороший русский писатель».

Ах, как бы хотелось им стать!

Но в силах ли мы приказывать собственной душе? А она летит туда и летит... Значит, что-то влечет ее туда? Что-то долгими часами там держит? Другое дело, и это моя вина, что до сих пор не смог с достаточной ясностью, с полной правдой высказать: что?

А забыть я, признаться, пробовал.

Вдруг однажды сказал себе: сколько можно? Не надоело?! Земля так прекрасна и велика. Мир вокруг удивительно многосложен. И достигли предела и нетерпение знания и кипенье страстей. Ощущенье такое, что род людской находится на пороге взрывоопасной тайны... Приоткроеется? Или — взорвется?..

А для тебя все сузилось до крошечного пятачка, закованного нынче в железобетон, утыканного чадающими трубами... Может, сменишь, в конце-то концов, пластинку?

И я приехал в крошечный поселок астрономов Буково под знаменитым Нижним Архызом на Северном Кавказе — всего четыре пятиэтажных дома, два из которых были еще в строительных лесах, и маленький, почти игрушечный, детский сад.

Стоял октябрь, золотая пора листопада. Внизу закатное солнце дожигало уже почерневшие верхушки деревьев. На вершине горы, облитой чистой лазурью, виднелся похожий на богатырский шлем серебристый купол обсерватории.

Я поглядывал то на него, а то на проходивших по единственной улице бородачей в застиранных штормовках, и мне казалось, что мое приобщение к мудрости тысячелетий уже началось...

Сперва оно было ненадолго прервано симпатичной женщиной в белоснежном халате, мерившей у меня давление, которое оказалось чуть выше нормы. Ничего не поделаешь, придется мне ночевать внизу: адаптация. Высота горы Пастухова, на которой находится Большой Телескоп, две тысячи сто, и с теми, кто ми-

новал перед этим медицинский пункт в Букове, бывали большие неприятности. Потому-то здесь больше не рискуют.

В дирекции САО — Специальной астрофизической обсерватории Академии наук — меня успокоили к телескопу поедем утром, а пока здесь, внизу, можно встретиться с теоретиками и наблюдателями, которые вечером свободны. Переночевать придется в общежитии, потому что три гостиничных номера переполнены, не страшно?..

В комнате общежития я поставил сумку и огляделся: и тут с жадностью искал приметы особенного быта. Тяжелые альпинистские ботинки на шкафу, так. Незаконченная чеканка на столе...

На стене висела взятая в рамку знакомая фотография проспекта Металлургов.

Скрипнула дверь, и я, еще не поздоровавшись, а только кивнув на снимок, чуть ли не с яростью спросил: «А это что?!»

Светловолосый крепыш лет тридцати пяти невозмутимо пожал плечами: «Новокузнецк!» Я набирал возмущения: «Вижу, только зачем он тут?!» — «А я из Новокузнецка, — сказал крепыш. — Что, бывали там?» И не успел я договорить, не успел назваться, как он подсел к телефону, набрал номер: «Толя?.. Можешь зайти ко мне? Зайди срочно». Обернулся и совсем уже свойски сказал: «Толя Хрипун... он про тебя рассказывал. Нас тут человек тридцать — колония!»

Толя Хрипунов!

Лет двадцать назад, когда на нашей стройке и конь еще не валялся, в поселке появились несколько парней в новеньких черных суконных куртках. В Комсомольске-на-Амуре закончили техническое училище, получили дипломы сталеваров, но на «Амурстали» оставаться не захотели, решили, видите ли, построить «свой» завод... У нас на Антоновке они начинали с «подай», да «принеси», да «сбегай», кто-то из них, чуть ли не Толя, в арматурном цехе занимал тогда малопочтенную должность «начальник мусорного двора» — так ее обозначил тогда один из наших «железных» — Эдик Окунь.

И много лет потом суконные эти куртки с двойной прокладкой на плечах, уже окончательно заношенные, уже с бесчисленными заплатами, были для всех нас как бы знаком далекокого пока праздника и на нашей улице: ничего, ничего, придет!

Первые наши ласточки. Наша надежда.

И уже через несколько минут, еще до встречи с бородатыми теоретиками да наблюдателями, которые в этот вечер были свободны, я сидел в компании хохочущих ребят из Новокузнецка — обслуживающих Большой Телескоп слесарей да инженеров-механиков, — и мы конечно же вспоминали общих своих товарищей... Может, он мое проклятье — Запсиб? Мой злой рок?..

Ранней осенью шестидесятого уехал со стройки москвич Юра Лейбензон, главный механик нашей жилищно-коммунальной конторы. Бог воды. Бог тепла.

В Гудауте, в просторном собственном доме, бога воды и тепла ждала невеста.

Несмотря на то что отношения с «богом» были у

меня самые душевные, вода на моем пятом этаже появлялась только глубокой ночью, на тридцать — сорок минут, которых хватало только на то, чтобы наполовину наполнить ванну — запас на все, как говорится, случаи жизни... Мыться, по старой памяти, я продолжал ходить в котельную.

Однажды, когда я только успел намылиться, в душевую вбежал старший кочевар Петро Дериглазов: «Скорей, Леонидыч с Черного моря звонит! Узнал, что ты тут, говорит, чтоб подошел к телефону!» Какое там, я даже не отер пены, только лихорадочно натянул штаны, зацепил лишь крючок на поясе. Слышно было, конечно, плохо, еще бы — в те времена к нам, случалось, еле-еле дозванивались из города, неизвестно, как это Лейбензону удалось прорваться из Грузии. И все же почти каждое слово я угадывал: через пять дней у моего друга свадьба. Время на дорогу есть, если даже выехать поездом. Он приглашает ребят — кочеваров, гвардию свою, но гвардия, видишь ли, стесняется, говорят, неудобно. Могу я им объяснить, что неудобно только штаны через голову надевать и спать на потолке — будет падать одеяло?.. Могу я их тут организовать и нынче же с ними выехать?

«Ты бы посмотрел на эти приготовления, Га-рюш! — тонко доносился издали насмешливый басок. — К будущей родне уже пригнали баранов... целая отара, не веришь?.. Мне страшно, слушай! Без вас я тут просто пропаду».

Вообще-то он уметь приbedняться, Лейбензон. И я закричал ему: «Нам бы твои заботы, Юрец!»

Лейбензон помолчал, потом уже другим голосом сказал: «Дай трубку Петру».

Он, видно, о чем-то спросил, и Дериглазов вдруг заговорил, как говорил перед этим на рабочем собрании в ЖКК. Только кричал еще громче и позволял себе выражения, за которые на собрании его тут же лишили бы слова. Он кричал, что ревизию котлам так еще и не сделали. Что теплотрасса в поселке по-прежнему в аварийном состоянии. Что, как ни бейся, никто не хочет помочь по-настоящему, а специалиста толкового так и нет и в первые же холода вся система в поселке, как пить дать, полетит к черту.

Вокруг столика с телефоном давно уже собрались все, кто был в котельной, кочевары и слесари. Я переминался босиком на рубчатых холодных пайолах.

Дериглазов вдруг сунул трубку мне. Слышно стало получше — Лейбензон там тоже, видно, кричал: «Что, на самом деле так плохо?!»

Я успел уже окончательно продрогнуть, поэтому только заорал: «А чего хорошего, Юр?!» Он попробовал пошутить: «А куда смотрит пресса?!»

Щадя телефонисток на всем протяжении от нашего утопающего в осенней грязи поселка и до солнечной Гудауты, я только предложил ему: «Иди ты знаешь куда?..»

Теперь даже было слышно, как он вздохнул: «Скажи ребятам, что выезжаю».

И положил трубку.

«Сказал, что выезжает», — объявил я, все еще держа свою около уха.

Петро Дериглазов, норов которого полностью соответствовал его не очень благозвучной фамилии, на этот раз только грустно произнес: «Шутник был».

Кочегар Толя Отрыжко, пришедший на стройку почти сразу после довольно долгой отсидки, Толя, который сперва доставлял Лейбензону столько хлопот и который прошедшей зимой сутками обливался потом у топки в самые лютые холода, воспринял это известие на свой манер: «Чернуху лепит, темнело!..»

Лейбензон приехал через четыре дня — ровно столько шел тогда поезд из Адлера. Приехал в тот самый день, в который перед этим в Гудауте собирались резать баранов. Целую отару — не верите?

Его квартира давно уже была занята, и он поселился вместе со мной, на моем безводном, как Сахара, пятом этаже. Раскладушку он всякий раз ставил около батареи, засыпал, положив ладонь на ребристую ее спину. Я долго не понимал, что это за удовольствие, спать, держась за горячую железку. Дошло до меня потом, когда однажды зимой я проснулся вдруг среди ночи от жестокого холода.

Батарея была как лед. На раскладушке около нее поверх покрытого простыней матраса лежала только подушка. Только тут я заметил, что Юркино одеяло брошено поверх моего. Накинул, когда убегал в котельную...

Не было его трое суток, а поздно вечером на четвертые, когда батареи уже снова задыхались еле слышным теплом, он открыл дверь и привалился плечом к косяку... Переступил порог, прижался к стенке спиной и вдруг сполз по ней, сел на пол, разбросал под вешалкой ноги в резиновых, с матовым налетом от холода, сапогах. Сучил ими беспомощно, я не сразу понял, что хочет разуться.

Когда я помог ему, он, все еще сидя на полу в мокрых полуразмотанных портянках, попросил: «У нас там ничего не найдется?..»

В граненый стакан я вылил остатки водки, нашел усохшую половинку луковицы. Он выпил и долго сидел с пустым стаканом в опущенной на колено руке, в другой нетронутая луковица. Перекатил потом голову по стенке, соскочил на меня цыганские, уже с загадкой, глаза: «Будь другом, гитару дай...»

И он сидел на полу, привалившись к стенке спиной, и хриловатым своим баритоном негромко пел про осенний листопад... Пел до тех пор, пока не запахнулась дверь и прямо на колени ему, на его гитару с шумом не свалилась куча мала соседских огольцов — в шапках, завязанных под подбородком, в теплых пальто и в валенках. По начерченным мелом квадратикам пинали на лестничной площадке свои стекляшки, а тут слышали музыку, пришли под двери послушать, как играет дядя Юра Робинзон — первая гитара в поселке.

Мне очень давно уже хотелось написать и об этой так и не состоявшейся свадьбе Лейбензона в Гудауте, и о том, что было после и с ним, и остальными близкими моими товарищами, но я так до сих пор не написал, как не написал о многом — из той, записовской, жизни — другом, что греет меня, как говорится,

до сих пор или до сих пор вызывает грусть... Так и не написал, но все это было всегда со мной, куда бы я ни пошел, куда б ни поехал, все это словно стало частью меня самого и в любую минуту могло о себе напомнить радостно и поднять среди ночи, чтобы записать строку, а могло заболеть и заставить вдруг присесть посреди веселья и тихонько задуматься. А странная это штука, и правда!.. Где-либо на голубой и зеленой, с белыми, как палубы пассажирских пароходов, башнями отелей Адриатике, в наполненной свежим ветерком, перемешавшим запахи диковинных цветов, комнате достаешь из чемодана блокнот и на обрамленном ветками лавра, с гнутой решеткою балконе садишься в кресло, чтобы поподробить хотя бы в самых общих чертах запечатлеть райский этот пейзаж с тихим, уже зажегшим ночные огни серебристым самолетом над удивительно синим морем, а тебе вдруг совсем не вовремя вспоминается косноязычный бригадир бетонщиков Миша Комзараков, ставший в конце концов прекрасным оратором, потому что из года в год на каждом очередном собрании говорил об одном и том же, о наших нехватках, или до тебя вдруг — через столько-то лет! — доходит, что прав был, пожалуй, отставной подполковник Проценко, надевавший боевые ордена под цвет многочисленных своих пиджаков, а не доводивший его, не очень умелого снабженца, до белого каления молодой крановщик Богатырев...

Уже постом, когда я давно уехал с Антоновской площадки, однажды после несчастного случая я попал в «травму», в травматологическое отделение больницы, и, когда молоденькая сестра со слов дежурившего врача записывала в мою карточку диагноз — «проникающее ранение», — я вдруг почти с радостью совсем не к месту подумал: да вот же, вот! «Проникающее ранение» — вот оно, определение той боли, которая столько лет не затихает во мне и в моих товарищах. Все мы ранены были нашим черным стальным Записбом. Кто — глубоко и счастливо. Кто — нелепо. Непоправимо. На всю жизнь.

И разве я не должен обо всем, чем мы жили тогда, рассказать, если так получилось: стать писателем выпало мне? Разве столько самых разных ребят, с которыми съездить пришлось тот самый русскою пословицей определенный пуд соли, и столько других — кто однажды подвез тебя, кто только дал закурить — не надеются на тебя? Разве они не ждут?

Я уже много лет собирал большую книгу о нашей стройке, такую, в которой меньше всего бы пришлось выдумывать, а только рассказывать без прикрас о том, что было на самом деле: это ведь обычно куда интересней и приукраски, и всякой выдумки. Много лет я ворошил старые черновики, перелистывал горы записных книжек, перечитывал скучные, на которые у меня никогда не хватало ни терпенья, ни времени, дневниковые записи, по папкам раскладывал письма друзей, поблекшие фотокарточки, короткие газетные вырезки, и даже тогда, когда писал о чем-то другом, от меня так и не отступали виденья тех лет, пришедшие из страны нашей молодости — пусть не очень уютной, но справедливой и гордой...

Может, мне хотелось разобраться в конце концов, чем же она, эта страна, нас к себе навсегда приворожила?

А может, давно уже настала пора «подбить башки»?.. Ведь на стройке мы, как мальчишки — да мы и были тогда зелеными мальчишками, — были яростно увлечены бесконечным будет и очень редко задумывались: а что же стало? Что теперь есть. (Кромс, разумеется, этого: «Есть кислородная станция!», «Рапортуем: сталепроволочный — есть!»)

Это вовсе не значит, что я посчитал жизнь прожитой, что согласился наконец: иду не на ярмарку, а уже с нее, да. Но ведь оглянуться назад было и в самом деле пора.

Выражаясь высоким стилем, мне хотелось вложить в эту книжку опыт моего поколения. Только — как до сих пор не очень изящно выражаются в моей станице — «без брешешь». Как мы говорили на стройке — да простится мне это! — «без булды».

Но ведь то, что подталкивало меня — профессиональный литератор! — то меня частенько и сдерживало. Ну, хорошо, я думал, Лейбензон тебе друг, потому ты о нем и пишешь, но ведь есть же кто-то другой, кто его и на дух, гитариста, не принимает. И тот уже написал бы иначе — у него своя правда!.. А как же тогда она — наша общая? Это, брат монополист, все равно что в личных целях пользоваться своим служебным положением, разве не так?

И однажды я купил японский магнитофон и все потом представлял себе, как на Антоновской площадке прихожу вечерочком в гости к дяде Васе Бичурову, одному из самых первых на стройке плотников, человеку добрейшему и удивительно чуткому, как не вынимаю из-под полы, чтоб не смущать его, свой крошечный «маг», а выставляю на стол только ее, проклятую, как прошу Бичурова: «А ну-ка, дядя Вася, давайте, пожалуйста, все с самого начала, все как оно было тут, как это видели и слышали вы...» А потом, после машинстки, только расставить запяты.

А сколько рассказал бы мне кто-то другой, третий.

Все чаще и чаще мне начинало казаться, что одною моральной поддержкой мне не обойтись, что в книжке моей должны участвовать многие, только тогда она получится достаточно полной. То же, что сделал до сих пор я один, представлялось мне островками в бескрайнем море. Представлялось лишь очень приблизительным остовом.

Но вспомнился опять Запсиб, вспоминалось жестокое время, когда царицей на стройке была знаменитая «незавершенка». На громадном пространстве лишь котлованы и котлованы, только кое-где далеко друг от друга серые ленты фундаментов, только кое-где пустые еще корпуса с одинокими кранами, и ни дымка, ни дымка!..

Тогда иной раз казалось, легче построить новый завод, чем этот закончить.

Бывало, я ловил себя на другом. Может, спрашивал, с этой книжкою ты не больно торопишься? Вон сколько тянешь, сколько все собираешься!.. Все волнуешь, все живешь в этом странном, тоже когда-то

привитом тебе стройкою ритме: сперва раскачка и хорошенькая запарка — потом...

Или дело в другом?.. Не знаю, как для кого, а для меня почти каждая книга была прощаньем. С детством. С другом, которого больше нет. Хотя бы с частичкою горькой памяти, которая давит и давит сердце...

Но зачем же тебе прощаться с твоею Антоновской площадкой, если отдыхаешь душой там не только тогда, когда доезжаешь поездом или прилетаешь туда самолетом, а и в такие часы, когда бываешь там только мысленно?.. Зачем расставаться с тем, с чем тебе легче дышится и увереннее живется?

Только нужно ли это другим, вот в чем суть!

Считаешь, что стройка твоя — чуть ли не пуп земли, а тут вон, в Орджоникидзе, прилепили на карту Родины этот, никому не известный Максимкин Яр...

И опять я прислушивался к доносившимся из-за Терека тонким крикам павлинов. И опять мне казалось, что перья жар-птицы ищу я вовсе не в том краю. Что на самом-то деле в старом вазоне, повернутом к стенке отбитым краем, стоят они на комодке в моем родительском доме...

Назавтра, когда мы осматривали красоты Дарьяльского ущелья, я измучил Алана ворчаньем: «Знаем мы эти сибирские штучки, знаем!.. Десяток лет ходили на глухаринный ток в Горков пал, так место называется, а потом кто-то из ребят спросил старика-охотника, нашего друга: а откуда названье, дедушка?.. А дед — книжник, мудроно любит сказать. В тридцатых годах жил, говорит, в селе некто Егорка. Мужичонка пропащий, лентяй из лентяев. В сельсовете работал сторожем. А супруга была с характером, и здоровьем бог не обидел, так она что?.. Егорку своего и грибы собирать, и ягоду брать, и шишковать силой заставляла. Чуть не за воротник приведет в тайгу, возьмет палку потолще: а ну-ка, полезай на кедр!.. А куда деваться: плачет, а лезет!.. Вот так однажды загнала его, а он там на кедре зацепился поясом да и уснул. А супруга-то раскусила да как-как крикнет! Он с перепугу и упал... Во-он с той, показывает, кедр! Так теперь место и называется: Егорка упал. Представляешь?! Увековечили, как же! На карте у вертолетчиков сейчас значится: Горков пал. Так небось и с этим вашим Максимкой. Жил некто Максимка. Однажды шел мимо яра. Под этим делом, конечно. Ну и, понятно, загремел!»

Друг мой вскидывался: «Сказал тебе: выясняем».

На третий день, когда я уже собирал чемодан, в номер «Владикавказ» ко мне он вошел радостный, но голос, когда стал говорить, был отчего-то виноватый: «Понимаешь, какое дело... Разыскали чеканщика. Парнишка уже в годах. Осетин. Оказывается, он работал там, в Максимкином Яре! На машине ездил. А потом попал в пургу, заблудился, и мотор отказал. А одна сибирячка его спасла, снегом оттерла, спирту дала, накормила пельменями... по-моему, у них любовь там была, понимаешь?..»

Не знаю, чего ожидал от меня мой друг, но я вдруг бросился обнимать его,

Прощаясь в тот раз, мы гоняли тост за этот прекрасный, будь он неладен, за этот маленький и великий Максимкин Яр. За то, чтобы видения нашей юности, которые приходят к каждому, у кого есть сердце, были всегда исцеляющи и прозрачно-чисты и чтобы они поддерживали нас в минуту печали.

И чтобы всех нас как можно дольше хранил добрый бог осетин Уастарджи — разве все мы не путники на нашей теплой и все еще пока зеленой Земле?..

### ТУДА! ТУДА!..

Отчего так бывает, что в самые светлые деньки своей жизни ты вдруг ощутишь тоскливый холодок далекой беды и сам себе напророчишь несчастье?..

А дни тогда были и действительно светлые.

Ослепительными утрами в августе солнце поднималось над влажными от росы еще густыми садами, посреди которых на обитых почерневшей фанерой или обтянутых полиэтиленовой пленкой кабинках для душа матово-серебристыми запотелыми дольками лежали отслужившие свое баки истребителей...

Может, поэтому казалось, будто маленький этот городок замер на взлетной полосе и вслед за стаями своих турманов тоже вот-вот взвьется в бездонную голубизну неба.

Но припекало солнце. Высыхали крапленые краснобокими яблоками кроны. Возвращались на крыши турманы. Накалялись дюралевые стенки баков с протухающей водой.

И к вечеру в застоялой духоте, замешенной на гретом аромате от виноградников, нет-нет и ощущался около дворов пробивающийся сквозь острую хлорку запашок, услышав который ты вдруг думал с невольной усмешкой: «Нет! Никуда этот городишко с набитым сытно брюшком не улетит!»

И весело думалось, и грустно: ну, а куда ему, собственно, лететь?.. И — зачем?!

Прошедшая «и Крым, и Нарым» шоферская братия, за легким заработком пригонявшая сюда рефрижераторы чуть ли не со всех концов света, благополучно миновав все заслоны, только что вывезла на Север помидоры со всей округи... Только-только в длинных цумовских очередях отстояли эти гордые красавцы, которых ты тут ни за что не увидишь не то что с хозяйственной сумкой, но даже с портфелем: а вдруг подумают, что в нем, кроме всего прочего, лежат покупки из гастронома и что ты, выходит, помогаешь своей жене?! Только успели в гумовском туалете доругаться с цыганками да с теми, кто под них работает, горластые кубанские тетки...

А впереди еще столько щедрых земных даров!

Потом этот крошечный городок будет терпеливо ждать недолгой зимы. Того, может быть, единственного в году дня, когда ударит морозец или посыплется чудом снег...

И в квартирах тогда захлопают дверцы шкафов, и в двухэтажных коттеджах, в одноэтажных домах поднимаются крышки сундуков... Когда вы еще иначе сможете продемонстрировать всех своих песцов да собо-

лей? Когда еще вам выпадет удача выйти на улицу в дубленке?

Ох, коли надевал бы все это часто, оно бы, может быть, и привык, и было бы его не так жалко! А тут единственный раз в году — и, представляете, метет?!

И строгая зимой улица станет вдруг удивительно пестрою от прикрывающих меха разноцветных летних зонтов. Игривая метель швырнет тебе в лицо не колкую крупу, но словно горсть нафталина...

Созерцая это странное, будто новодогнее зрелище, ощутишь теплые запахи далекого детства и вспомнишь вдруг свою бабушку в старой клетчатой шали — перед редким походом в гости к столетней своей подружке, куда-нибудь на другой край станицы...

Нам в этом городе было хорошо, потому что малыши наши росли теперь около родителей жены, и так весело и радостно всегда было по уютным улочкам вести их от центра, где мы жили, до чистенького домика бабушки с дедушкой, поближе к окраине.

Оба они были в том возрасте, когда дети, кроме бесконечной радости, ничего еще не приносят, и меньший, когда я вел его, повисал у меня на вытянутой руке, тянулся к посаженным недавно у нас во дворе маленьким туям, пробовал провести по их упругим бокам ладошкой, и, когда я, для порядка ворча, оттаскивал его от деревцев, он, уверенный в правоте своей, громко объяснял: «Ну, как ты не понимаешь, я же хочу пощупать, теплый сегодня ветер или не очень!»

Старший приседал при этом от смеха, но тут мы видели на углу отошавшую, с оттянутыми сосцами собаку, которая, опершись передними лапами о край бетонной урны, зубами доставала оттуда скомканный, из промасленной бумаги, кулек, носом разворачивала его потом на асфальте, чтобы достать только надкушенный кем-то общепитовский пирожок, мы видели эту собаку, и он глубокомысленно изрекал: «Да, сейчас ей надо хорошо питаться, правда, — у нее ведь восемь щенков!»

«Чья это собака?» — спрашивал я.

Он пожимал плечами: «Первый раз вижу».

«А почему ты тогда решил, что щенков у нее — восемь?»

Он смотрел на меня, как на глупца: «Просто я у нее соски посчитал!»

Если стояло лето или не пришли еще холода поздней осени, то по тихим улочкам за центром городка тащились мы совсем медленно, потому что мальчишки деловито оглядывали росшие перед оградами в два, а то и в три ряда фруктовые деревья, и, когда попадался крупный тутовник или уж больно хороши были сливы, жена говорила мне: «Пусть попасутся».

И они «паслись» под деревьями, а мы терпеливо стояли рядом, иногда оглядываясь исключительно на тот случай, чтобы благодарно кивнуть, если откроется калитка и выйдет хозяин или кто-либо выглянет в окно.

Это было в обычае городка, мимоходом угощаться на улице, — лишь бы не ломал веток и не набивал карманов,

Бабушка, правда, нам потом выговаривала, потому что после абрикосов или после винограда мальчишки не хотели есть борщ, но как было удержаться, как не сорвать яблока в этом земном раю нам, истосковавшимся по щедрым витаминам сибирякам?

В родную мою станицу летал из городка маленький самолет, и всего лишь пару часов мне было надо, чтобы от порога нашей квартиры добраться до крыльца отчего дома, где под крылом у моей мамы подрастал мой старший сын, ради которого мы, собственно, на Кубань и приехали.

Куда тут деться от этих слов, которые так хотелось бы не произносить: первая жена, москвичка, рожать приехала в станицу и вскорости оттуда уехала, потому что ей надо было доучиваться на заочном, а толку от нее, как потом говорила по простоте своей мама, все равно никакого не было: мало того, что пропало на первом месяце молоко, она еще — ни пеленки переменить, ни постирать их, ни хоть что-нибудь приготовить... Без нее, видно, матери стало и в самом деле полегче: «не за двумя — за одним ухаживать».

Когда мы собирались в Сибирь, на свою Антоновку, Сереже был ровно год, и мать, зная цену своей невестке, отговорила нас брать с собой сына, мол, обживетесь, потом, а еще через полгода мы расстались, и сна — «в знак очень большой любви», как писала в последнем своем письме, — оставила сына мне, но сразу забрать его у мамы я не смог, и тогда мне это казалось вполне естественным: что ж тут такого, если побудет пока на юге у своей родной бабушки, если немножко подрастет да окрепнет перед поездкой в далекую холодную Сибирь.

А потом у меня опять появилась семья, и мать слишком долго присматривалась к новой своей невестке и справедливо, как нам тоже тогда по молодости казалось, не отдавала нам Сережу, а там у нас родился Жора, а там подростом моя младшая сестра Таня, уже училась в десятом, и мама прислала мне такое письмо: а можно, мол, Сережа и еще чуть побудет у бабушки, а ко мне она, так и быть, Таню отправит — пусть попробует поступить в институт в Новокузнецке, пусть поживет у брата. Только тогда душа у матери будет на месте...

Ох эти невинные хитрости, на которые мать шла от великой жалости к нашему Сереже и от великой любви к нам, ко всем ее детям... Тут уж и в самом деле была великая любовь, только порой слепая, порой своенравная, порой слишком гордая — кто теперь нас рассудит?.. Что касается меня самого, я в любую минуту готов признать, что во многом и многом я был неправ — но кому от этого легче?..

Но это уже потом, это потом затянёт жизнь хитрый узелок, который она так любовно и так медленно плела столько лет!.. А пока все еще у нас у всех хорошо, все мы, несмотря ни на что, друг друга любим.

И все еще живы.

На маленьком самолетике, с которого так хорошо была видна моя почти в любое время года зеленая родина, я прилетал в станицу и первым делом, конечно,

но, выслушивал нескончаемо длинный рассказ матери об их с Сережей нелегком житье — дед в таких рассказах, как правило, не принимался в расчет, — потом, уже на следующий день, шел в школу, в которой сам когда-то учился, которую вслед за мной окончили мой брат и моя сестра, и теперь уже там выслушивал то сострадательно-добрые и печальные, а то и злые слова от уже постаревших моих учителей...

Те из них, которых любил с детства я и которым стольким в жизни обязан, утешали меня, подбадривали, по-простому, по-нашенски говоря, что у моего старшего все еще впереди, что «восемнадцатая вода все вымоет», уж это и точно так, а те, которые меня недолюбливали еще и тогда, два десятка лет назад, с нескрываемой радостью громко заявляли — желательно в коридоре, желательно, чтобы народу при этом было побольше, — что да, что висит, конечно, в школе на стене мраморная табличка с именами «медалистов», на которой трижды повторена наша фамилия, но вот в четвертый раз этого не случится, уж тут и к бабке не ходи, не случится, нет, — дотянул бы хоть еле-еле!..

Подкинул папа своей школе сыночка!

Были потом, само собой, то терпеливо долгие, а то короткие и резкие, как весенняя гроза в этих местах, разговоры с сыном, и все-таки это еще ничего такого не значило, все это еще было счастьем, потому что выговаривалась наконец мама, добрались непримиримые, казалось поначалу, учителя, брался за книжки сын, и я потихоньку успокаивался, и уже находил время вволю побродить по покатым холмам нашего Предгорья и вволю потом посидеть в нашем доме за рабочим столом — на самом деле это был покрытый плюшевой вишневого цвета скатертью обеденный круглый стол, который стоял под оплавленной пластмассовой люстрой посреди зала... Посреди «большой хаты», как у нас говорили прежде.

Как хорошо работалось за этим столом!

Но среди других написанных в ту пору печальных строк вдруг появились эти: «Антоновка — это страна твоей молодости. Не очень устроенная, конечно. Но зато бескорыстная и свободная... У каждого должна быть такая страна, куда всегда потом можно вернуться, когда тебе станет отчего-либо плохо или заболит душа».

Осенью семьдесят седьмого года, когда мы жили уже в Москве, погиб наш семилетний сын Митя.

За месяц или полтора перед этим приснился мне сон: будто бы мы с женой, убитые горем, медленно бредем по ледяной, с широкими мазками крови, дороге и я говорю ей: «Надо пройти, понимаешь — надо пройти».

Тогда я постарался этот сон тут же забыть, но после, когда Митя уже не стало и мы с женой, поддерживая друг друга, тихо брели однажды по тротуару рядом с трамвайной линией, где это случилось, мне вдруг четко вспомнился сон, и я вдруг с ужасом понял, что одеты мы с женой точно так, как одеты были — я это совершенно точно помнил — в том сне...

Жене я об этом не сказал и не говорил еще года два,—наверное, нам еще нельзя было обо всем этом говорить.

Митя погиб напротив дома, и весь наш громадный, в шестнадцать этажей, дом запомнил и похороны, и, конечно же, нас с женою... На нас смотрели потом такими сочувственными глазами, что я стал невольно почти со всеми здороваться. Наиболее сердобольные спрашивали порой, как мы поживаем, и я, безраздельно занятый горем, почти машинально отвечал, что хорошо, спасибо... Одна молодая соседка по подъезду, у которой подрастал маленький сын, каждый раз, когда мы встречались в лифте, настойчиво спрашивалась о здоровье жены, и тут я тоже всякий раз говорил, что жена здорова, спасибо, ничего... Говорил так до тех пор, пока соседка однажды, приподняв руки, не вскрикнула: «Да что же это за каменное сердце?!»

И тут я вдруг понял, что, по ее мнению, мы слишком жестокосерды: если выжили, если одни, без Мити, остались на белом свете жить дальше.

Не дай мне, господи, судить когда-либо о глубине несчастья других!

Его уже нет, а из детской поликлиники приходит открытка, что пора бы показать мальчика зубному. И добрый врач-аллерголог Михайлов присылает из Краснодара письмо, в котором спрашивает, извиняясь за беспокойство: верный ли он давал нам совет насчет перемены климата для нашего Мити — для врача это очень важно узнать, напишите... А может быть, Митя напишет сам? Ведь он давно уже школьник и учится конечно же только на «хорошо» и «отлично»... И на пороге вырастает старый друг, с которым не виделись несколько лет, и первым делом достает из кармана шоколадку: «А где он, где?! Почему не встречается?»

И срывается вдруг с книжной полки у самого потолка когда-то залетевший туда и пролежавший там уже несколько лет разрисованный мальчиком голубь из плотной бумаги... Он все тихо лежал и лежал наверху, свесив нос и половинку цветного крыла, лежал, словно на что-то еще надеялся, а тут вдруг покачнувшись и неловко стал падать. И, обернувшись на шелест, уловив глазами миг приземленья, ты вдруг, как от острой сердечной боли, замрешь, шею тебе ознобит, и сумасшедшая мысль вдруг мелькнет: а может, здесь, в комнате, это его подтолкнуло касанье чьих-то незримых крыл?

Митя погиб на глазах у жены, и она не могла теперь одна переходить через улицу и, как раненая птица в ветку, намертво вцеплялась пальцами в мою руку.

А я уже застал только два бесконечных ряда замерших трамваев, застал только большую толпу, из которой выкатил на меня и отчаянно завыл сиреной белый автомобиль реанимации. И я теперь страшился замерших один за другим трамваев и застывал, если видел людское скопище, и невольно вздрагивал, когда слышал похожий на обещающий безоблачное счастье прерывистый звук пионерского горна отчаянный сигнал уже опоздавшей «неотложки».

По просьбе среднего сына, Жоры, мы завели щенка, ньюфаундленда, который стремительно вырос в громадную, с теленка ростом, собаку, и только теперь я представляю, насколько нелепо и растерянно я тогда рядом с нею выглядел... А тогда это, пожалуй, всем встречным бросалось сразу в глаза, и многие из них — понимаю теперь, невольно — запросто спрашивали в лицо: а зачем такая собака?!

Однажды зимой высокая старуха с резкими чертами лица остановилась на улице, глядя нам с собакою вслед, сказала громко: «Всю жизнь по общежитиям, подружка Клавдия придет, чаю выпить с баранками негде — а эти!.. Поди, в отдельной комнате держат!»

И я, уставший от несправедливого презренья, — так мне тогда, по крайней мере, казалось — рванул собачкин поводок, вернулся быстро к старухе и без лишних слов, так же, как она, просто сказал: «У меня маленький сынок погиб, бабушка! А старший попросил нас ее взять. Он за младшим ходил, как нянька, а тут, видно, ему тоскливо, он ведь тоже осиротел!.. Это не потому, что богато живем, нет!»

И быстро пошел обратно, почти побежал, а старуха бросилась вслед, закричала жалостно и громко: «Человек!.. Милый! Прости меня!»

Прости всех нас, бабушка, и ты.

Из Новокузнецка в те дни постоянно звонили друзья. Не приглашали, а требовали: вам надо на Антоновку приехать.

Мы с женой полетели до Кемерово, оттуда решили доехать на машине, и это еще там, провозжая нас, Виталий Васильевич Банников вдруг сказал: «А почему бы тебе не вернуться в Кузбасс?.. Ну, хоть на время. Все равно ведь вернешься и будешь ошиваться по гостиницам, а зачем?.. Попроси в Новокузнецке выделить тебе какой-нибудь хоть крошечный рабочий кабинет — что тебе, не пойдут навстречу?.. Ну хочешь, я сам позвоню, скажу?»

Лет десяток назад мы, тогда еще совсем молодые и начинающие, считали его, директора издательства, кормильца своего, последним жлобом и последним, конечно же, скупердяем, готовым задавиться, лишь бы законный аванс тебе не выписать, мы ему не раз собирались устроить «темную»...

Он в тот же вечер позвонил.

И из Новокузнецка в Москву я улетел с твердым обещанием большого строительного начальства — этих на моих глазах начинавших мастеров да прорабов, — с твердым их обещанием «выделить» непременно, и вернулся потом уже не в пустую маленькую квартиру, нет.

Я вернулся словно лет на двадцать назад. В пятьдесят девятый год.

Сколько иллюзий поддерживают человека в лихую минуту, удивительно!

Я ходил по комнате с голыми стенами, прислушивался к скрипу половиц, и мне казалось: вот-вот без стука откроется наша дверь, которая никогда не запирается на ключ, и войдет длинный Славка в выцветшей зеленой щормовке, войдет Карижский: в одной руке пузатая авоська, с крупной, с добрым кулаком,

сибирскую картошкой, а другою он поддерживает у груди бумажные свертки. «Ну, что, мальчишка? — спросит весело. — Будем жарить или закажешь вареную — в шинелях?»

За ним шагнет худющий Генаша Емельянов с папкою из дерматина под мышкой — эту папку он называл «досье». Сигарета в зубах, а руки в карманах, «руки в брюки». Спросит нарочно кисло: «Этот щенок еще здесь?.. Через пятнадцать минут закроют — без «порфейной» останемся!»

И мне придется бежать, потому что в компании я самый младший, и до того времени, когда в нашей редакции кроме нас с Генашей появятся еще два литературных «негра», — до того прекрасного времени пока еще очень далеко, и пока придется бежать...

И чтобы доказать им, что на самом-то деле я куда старше, чем им кажется, и куда самостоятельной, я возьму на один «огнетушитель» больше, а, когда вернусь из магазина, дома уже будет и наш четвертый, будет сидеть мокрый и перепачканный сажей, как воробей, живущий зимою в его котельной, Лейбензон, и это он спросит вроде бы хмуро: «Сколько?», а когда я ему отвечу, скажет: «Я слышу речь не мальчика, но...»

Он сказал мне это в день нашего знакомства.

В самом начале марта пятьдесят девятого года я приехал на преддипломную практику в кемеровский «Кузбасс», и, отправляя меня на Антоновскую площадку, ребята-газетчики, недавние выпускники МГУ, чуть ли не силой стащили с меня яркий, в крупную клетку, свитер и штаны-дудочки — а то ведь, чего доброго, несчастный «стиляга», в пролетарском городе набьют тебе морду!.. И Валера Симаков снял с себя скромный такой, ничего вызывающего, свитерок, Саша Никитин раздобыл клещи с шириною штанин за сорок сантиметров, Витя Моев сообразил легонькое такое пальтишко с полупудом ваты на каждом плече, и я поехал знакомиться с жизнью поселка строителей будущего гиганта черной металлургии...

А Лейбензон, когда я его увидел на крыльце первого на Антоновке малюсенького клуба, стоял в ратиновом пальто с рукавом реглан и в башмаках на такой подошве, что будь здоров, стоял и ехидно спрашивал у меня, у бедного студента: «Вам и в самом деле у нас понравилось?»

Я прямо-таки выпалил: «Да, очень!.. Вот только получу диплом и обязательно вернусь».

Тогда я и услышал от него в первый раз: «Я слышу речь не мальчика, но мужа!» И он еле заметно подмигнул.

А морду нам обоим набили уже потом, спустя года полтора, когда я и в самом деле вернулся, и мы уже давно и прочно дружили, были, что называется, «не разлей вода», и он только еще собирался в Гудату...

Даже до этого еще далеко!

И опять казалось, будто жизнь только начинается, и все еще впереди, и что это «все» — только радости да удачи.

Ожидание этой, только предстоящей мне, жизни усиливалось оттого, что в маленькую мою квартиру

нет-нет да и заглядывали скопом мои старые товарищи, замордованные работой. Сбрасывали пиджаки, оттягивали пониже узлы галстуков: после длинного совещания, на котором только что отсидели, им хотелось расслабиться, но попробуй расслабься, если восседаешь на табурете, в каждый момент готовом под тобою рассыпаться. Тут невольно предпочтешь постоять, и стоя, или прохаживаясь со стаканом в руке и с сигаретою в уголке рта, они толковали меж собой так, вроде бы меня среди них и не было: надо бы, конечно, сообща поднатужиться, надо, конечно, отдать команду, чтобы комнату привели в божеский вид, побелили, подкрасили, чтобы мебелишку кое-какую поставили... еще по одной?.. Ну, по последней. На ход ноги. Будем!.. Ничего-ничего! Так вот, чтобы, значит, мебелишку... да что мебелишку? Не стыдно жаться?! И не хватит ли наконец беднячками прикидываться?.. Поставить финскую мебель, такую, какой собираются в тресте обставить маленькую гостиницу для большого начальства. Да, а что?! А в углу возле окна — журнальный столик и два низких кресла. Мало — два?.. Ну да, а то, значит, двое будут сидеть, а остальные — расхаживать?.. Четыре кресла! Посовременнее, полегче, но — обязательно четыре. Торшер, конечно. С мягким светом. Чтобы, значит, успокаивал. Только перед этим, естественно, надо поснимать с окна эти пошлые газеты на кнопках и повесить порядочные шторы, да, а то не будет смотреться...

Но с укором заглядывал в комнату Стас, единственный водитель, оставшийся затем, чтобы развезти потом всех по домам... Но начиналась утром будничная эта жизнь большого города с его сумасшедшими проблемами, за которыми не то что о финской мебели для моей комнаты — они забывали о себе.

Я утром думал: а может, стоит разыграть вариант пятьдесят девятого года? Так сказать, «Вариант-59», а?

Тогда это делалось чуть проще.

Попозже вечером по сильнее стучишь кулаком, а то носком сапога по забору, окружающему двор единственного пока в поселке магазина, рядом с широкими воротами почти тут же открывается узкая калитка — правда, парня видишь за нею мало тебе знакомого. Диалог такой:

— О, привет! А Николая нет, что ли?

— У него пацанка сильно заболела, жена с ней одна боится, вот он меня и попросил.

— А что с дочкой?

— Оно и ничего вроде, зубки режутся, а температура — видишь... Да проходи, он говорил, что ты приходишь. Тебя я знаю, а меня — Володька. Так, значит, что тебе? Стол, он говорил.

— Да, понимаешь, круглый небольшой у меня есть, дали в ЖЭК, а это — для работы.

— Короче, письменный. Еще что?

— Кровать односпальная тоже есть.

— Диван, значит. Вдруг кто придет да ночевать останется.

— Хорошо б, конечно, диван.

— Тумбочку для книг, он вроде говорил?

— Тумбочку, угу.



— Ну, и тумбочку, чтобы рядом с диваном. И тумбочку для посуды, так?

— Да у меня ее пока и нет, посуды.

— Ну, так будет же. Чего потом ходить. Бери сразу, пока есть.

— Возьму, спасибо.

— Ну, пойдем выберем.

И ты вслед за малознакомым тебе Володькой, с которым станешь потом здороваться, как с родным, идешь к высокой горе сложенных кое-как разнокалиберных ящиков из-под продовольственных товаров — из-под чего их тут только нет!.. Из-под тушенки. Из-под водки. Из-под крабов. Из-под мыла. Из-под шампанского. Из-под вяленой рыбы. Из-под духов.

В то время мы еще не знали такой игры — детский «Конструктор»: она появится потом у наших детей, и сначала мы будем импортные коробки привозить им из Москвы, только потом уже — наши, но вот они, пожалуйста, основы этой игры: из одних и тех же ящиков, хочешь — собери письменный стол, хочешь — диван.

Просто не представляю, почему эту игру завезли к нам потом из-за границы, почему «Конструктор» появился не на нашей Антоновской площадке, — прямо-таки обидно!

— Ну, на стол ты сам давай ищи, — предлагает Володька. — Все же — письменный! А диван я сейчас тебе соберу. Диван будет — закачаешься!

Еще бы не «закачаться», если на этот самый диван у него уходит двенадцать ящиков из-под столичной: три — один бок к другому и четыре — торцом к торцу. Океанский лайнер, а не диван!

А с письменным столом, естественно, куда сложнее. Раздобыть бы себе такой, как у Карижского, у Славки: две мощные тумбы по бокам, широченная и прочная столешница, а сверху еще два бюро — слева и справа — и между ними четыре полочки, да. Но Славка уже открыл мне секрет: нижняя часть стола — это ящики из-под духовых инструментов, и только бюро уже — из-под «белой головки»... Но ведь не каждый день присылают на стройку духовой оркестр. Тем более и играть-то пока некому — разве от хорошей жизни раздали бы трубы девчатам?

И не каждому достаются ящики из-под оркестра — уж чего тут и говорить!

Так что придется тебе, милый, ставить внизу ящики из-под белой, как раз два ящика один на другой плашмя — это и будут тумбы стола, вместо столешницы послужит пока старая калитка, хорошо, что сплошная, это Володька верно сообразил, а что касается бюро — ну что ж, брат, зависть еще никогда никого не украшала, зачем тебе — два?

Такой же ящик боком — на левый дальний угол перевернутой калитки, и все дела. В этом даже что-то есть, ты не считаешь?

Стоп, а если на этот, который боком, поставить еще один — уже на попа?

Потрясающе! Самый настоящий конструктивизм. Клуб Русакова на Стромьнке рядом с общежитием МГУ — завтра Славка лопнет от зависти!

Остается теперь переташить мебель домой: как хорошо, что, слава богу, она разборная!

Так, может быть, все-таки, думал я теперь, — «Вариант-59», и все дела?

Правда, с ящиками будет сложнее. Тогда их просто сжигали, чтобы машины чем попало не загружать, это потом уж стали отвозить их в город.

Да и попробуй достань теперь прочный ящик из досок — теперь у нас и картона достаточно, да и не слишком ли, в самом деле, великая честь, если разномноженный, как рыба икра, «завтрак туриста» паковать в сосновую тару?

Но это еще ладно, это я, предположим, преодолел бы, нашел ящики, но что подумают, когда увидят мебель из них, мои товарищи? Решат еще, что хотел над ними поиздеваться. И потом, куда мы и правда поставим финский гарнитур — такой же, какой будет в маленькой гостинице для большого начальства?

И я пока завтракал всухомятку и шел в трест — выпросить для начала плотника и сантехника, а то одно окно у меня так и не закрывается плотно и рядом с щелью каждую ночь появляется на подоконнике сплошная полоска графитовой пыли со старого комбината, а пол под батареей побелел от влаги и вздулся...

К этому времени сервис в Сибири уже достиг уровня столичного, ожидать, когда придет мастер, надо было в течение дня, и это, к сожалению, возвращало меня из прошлого, но потом раздавался наконец в коридоре звонок, поскрипывала дверь, слышался прокуренный голос — «Дома хозяева?» — и появлялся невысокий и сухонький, с колючими глазками, старичок, долго смотрел в упор, только потом улыбался краешком губ:

— Ты, Леонтьич, гляжу, забыл меня?

Память начинала биться, как птенец в скорлупе: этот жесткий прищур да эта цепкая твердая рука...

— Давай в таком случае знакомиться: Казаков.

Этот, в скорлупе, ткнул покрепче, и я радостно приподнял палец:

— Александр!.. Александр!..

И тут лицо у него добреет:

— Сан Саныч, да. Значит, все ж — не совсем?

Один из наших «железных» прорабов! Один из первых.

А вот такие они и были: не с коломенскую версту. Не косая сажень в плечах. Но вот хватка, которую ощущаешь чуть ли не кожей: этого не стряхнешь, этот, если пристанет, не отцепится.

А он вдруг тихо-мирно раскрывает затрепанный портфель, деловито достает из него молоток, долото, рулетку.

Робко спрашиваешь:

— Так, а сейчас, значит, где?

Он уже не то что добр — он прямо-таки весел:

— А все, брат. Отработал. Теперь на пенсии. Но чтобы штаны, значит, не протирать на скамейке, где доминошники, хожу, помогаю потихоньку... Думал, я

молотка держать не умею? Думал, что весь мой инструмент — только глотка?

Глотка у него была — это и правда!

Года два или три назад я пошел с сыном в спортивный зал на Маяковке, где тренируются каратисты — ну, хорошо, каратисты, хорошо. Сперва он занимался вместе со всеми, и я стоял в сторонке один, но потом тренер — ну, хорошо, учитель, ну даже сэнсэй, хорошо — велел ему, видно, уделить отцу немного внимания, и он подошел ко мне как раз в тот момент, когда зал в едином, словно бы первобытном крике резко выдохнул утробное: «Къ-я-я-я!»

— Знаешь, па,— сказал сын. — В Японии, когда занимаются в саду и так вот кричат, маленькие птички падают с веток мертвыми... Почему ты смеешься? Не веришь?

Отчего ж не поверить?

А улыбнулся я тогда потому, что про себя вдруг подумал: «Ну что там — малая птаха, если от мата наших прорабов почти совсем уже исчезла в тайге такая мощная птица, как глухарь».

Короче, Казаков из тех, кого лет тридцать назад можно было смело выставить одного против всей этой школы на Маяковке — это у них там ведь так и называется: «один против всех».

Теперь, правда, он изо всех сил пытался внушить мне мысль о благолепии старости, но только куда там! Овечья шкура так и сползала с этого матерого волка, так и сползала — то на один бок, то на другой.

Стал на табуретку, чтобы перебраться с нее на подоконник, а она под ним так и зашаталась — две такие до предела расшатанные табуретки и одного с ними возраста стол по старому обычаю оставила мне бывшая хозяйка квартиры, Варвара Степановна.

Я бросился поддержать его.

Он отстранил мою руку. И начал с глубоко затаенной ехидцей:

— Я упаду? Это я-то? А я где работал? Ты забыл?! В «Спецжелезобетонстрое» я работал, вот где. Все трубы на Запсибе от самой малой до самой высокой... На первой котельной, что в поселке, кто трубу клал? Казаков!.. А на аглофабрике, эту дуру здорювую?.. Опять Казаков. От и до! А он: упаду! Ишь ты. Не по таким лазил! И не боялся... Это ваш брат! Когда закончили трубу на аглофабрике. Недалеко от первой домны. Вот мне один и говорит: хочу, мол, домну с этой трубы сфотографировать. Домна, мол, с птичьего полета — как, а?! Я: ладно! Ну и полезли мы. Я впереди, а он еще с одним сзади. Поднимались по шахте, поднимались... Гляну, а они все ниже от меня, все ниже. Потом обернулся, они стоят. Что такое? Да что?.. Уже, говорят, наверно, хватит. А вы же хотели — с птичьего полета?.. Так, мол, уже! Разве низко? Воробей на такую высоту, мол, вообще не летает. А я им: я-то думал, вы — орлы!..

Когда он поправил рамы, стал искать веник, чтобы подмести. Я запротестовал: да ну, мол, Сан Саныч, сам не справлюсь? На что другое, а на это, мол, ума хватит.

— Э, не-ет! — поднял он сухонький свой палец. Тут дело принципа. Я как своих всегда жутил? За со-

бой ничего не оставлять. Ничего! Вылизывали: Где веник?.. Дело принципа!

Потом я ему, естественно, сказал спасибо.

Он даже ладонь к уху трубочкой приставил:

— Как-как?.. Что ты сказал?.. А ну повтори?

— Спасибо, говорю. Большое спасибо.

Казаков сперва радостно выдохнул, как будто только что тяжелый груз сбросил, только потом врас-тяжку сказал:

— Ну, уважил, Леонтьевич, ну, уважил!.. Сколько на стройке — и премии давали, и грамоты... а вот спасибо никто не догадался. Только «давай-давай» всю жизнь и слышал!

Я рассмеялся:

— А от вас?

Казаков переспросил хитренько:

— Что — от меня?

— Ну, слышали-то? Что?.. «Давай-давай», да еще небось с хорошим довесочком.

Развел руками:

— Дак всю жизнь как толмач. Приказы сверху на понятный язык переводил. Чтобы всем до одного было ясно.

А птенец, однажды начавши, все тюкал, тюкал по слабеющей скорлупе. Словно уличая его в чем-то предосудительном, я громко и весело сказал:

— Сан Саныч! Так вы ведь квашпункт строили! На складах орса.

Он, видимо, хотел снова взять из угла веник, но тут, не дотянувшись до него, замер, оглянулся медленно:

— И овощехранилище. В Сидоровке. Ну так что?

— А вы мне — «Спецжелезобетонстрой»!.. Трубо-клады-высотники!

Казаков смотрел долго, внимательно, словно прикидывал, как бы меня, щенка такого, приструнить, потом качнул головой и вдруг рассмеялся:

— Леонтьич!.. Дак а ты забыл, что ли, с чего трубы-то начинаются? А с квашпункта они и начинаются. С картошки да с квашеной капусты, — и снова вдруг посмотрел строго. — Или не так?

Я нарочно чесал в затылке, разводил руками, кивал, соглашаясь: мол, так и было!

— А потом — трубы! — поставил он все на своем месте, и я невольно почувствовал себя виноватым.

— Может, Сан Саныч, чайку поставить?

Он добил меня:

— Дак а ты еще разве не поставил?!

Долго пили чай, вспоминали этот самый «квашпункт», который в свое время должен был обеспечить нашей Антоновке безбедную, витаминную зиму...

Потом приходил сантехник.

Работать мне было, в общем, некогда, и друзья мои это, конечно, понимали.

Провожая меня в Москву, все дружно говорили, что к следующему моему приезду все в квартире будет наконец-то «в ажуре», и эти проводы в аэропорту всякий раз были похожи на оперативку, на которой все дружно называют сроки и так же дружно забывают о них, стоит всем подняться и надеть шапки.

Но я их, замотанных, так хорошо понимал, я так благодарен был и за эти встречи и проводы, и за эти совершенно искренние обещания поставить финскую мебель, которой еще так и не было даже в маленькой гостинице для большого начальства, и к следующему поезду навести в квартире «ажур».

А может, как раз это меня и грело, что в наших теперешних отношениях жил этот неистребимый дух стройки? Конечно же, никто из них и пальцем о палец не успевал ударить, пока меня не было, но стоило появиться снова, как в моей квартире вскипала вдруг такая бурная деятельность, что даже я, уже стреляный воробей, готов был уронить умильную слезу.

По несколько человек сразу приходили чем-то очень серьезным озабоченные люди с рулеткой и с карандашиками в руках, что-то размечали, отмалчиваясь, что-то записывали, просили не отлучаться из дома, но почему-то никогда больше не возвращались, а вместо них приходили уже другие и снова что-то обмеривали и что-то записывали и тоже просили не отлучаться. Стоило мне на несколько минут выбежать в магазин через дорогу за хлебом, как в квартире вдруг таинственным образом во множестве появлялись измазанные краской пустые ведра, кисти на длинных ручках и почему-то отбойный молоток, но я уже твердо знал, что всему этому добру придется покойно простоять у стеночки до моего отъезда... Но в этом ли было дело?

Уже на правах старого моего шефа опять появлялся Александр Александрович Казаков, и чайник я ставил на плитку теперь сразу же, и уже доставал не две чашки, а несколько, потому что заранее уже знал, что обстоятельное наше чаепитие, к которому вот-вот обязательно присоединится кто-то еще, выльется в долгий вечер воспоминаний.

Из треста рядом приходил вдруг пожилой связист, и Казаков нарочно громко удивлялся:

— А ты чего это сюда, Григорий Романыч?

— Это я-то — чего? — искренне изумлялся высокий, чуть сутуловатый связист — наверняка ровесник бывшему нашему «железному». — Я-то ясное дело. Ты-то вот чего?

— А я тут часто бываю! — говорил Казаков почему-то радостно.

— Он бывает! — поддевал Григорий Романович, кивая на худенького Казакова. — А кто первый сюда пришел? В эту квартиру?.. Связь пришла. Потому что она есть — связь!

И уже не торопясь отпивал из чашки, и говорил не то чтобы хвастая, но в то же время и не без некоторого превосходства над бывшим нашим «железным»:

— На Запсибе кто связь первую устанавливал? Вот то-то же... Протянул от совхоза, от коммутатора ихнего. Только доложил Нухману, мол, пользуйтесь!.. Он зовет. Гриша, не работает! В чем дело?.. Обрыв, думаю. Пошел по линии. Нет, везде все хорошо. Дошел до самого совхоза, открываю дверь, а на коммутаторе — никого. Оглядывался-оглядывался, ждал.

Потом — к председателю. «У вас, — говорю, — чепе! Телефонистка пропала с коммутатора». А он: «Какое тебе чепе — я ее за конюхом послал, скоро должна вернуться». — «Это, — говорю ему, — не дело». — «Да ну, — говорит. — Какая беда! Надо мне в город позвонить, так я и сам зайду да воткну. А она у меня и рассылная, и кто хочешь». — И посмотрел на Казакова значительно: — Вот так!..

Но Казаков молчит, и спрашиваю я:

— А дальше?

— Дальше что?.. Посоветовались мы с Нухманом: надо свой коммутатор. Ну, он мужик пробивной, вскоре поставили. Только поставили, опять зовет: Гриша, послушай, что там творится? Дает мне трубку, я к уху, а на коммутаторе целуются, аж звон стоит — хоть бы, дурочка, отключилась! Я говорю: хорошо, что не что-либо другое. Расстались с этой вертихвосткой, ладно. Нашли девчонку порядочную. Опять перебон! Да что ты будешь делать?.. Бегу на коммутатор, а она сидит не за пультом, она дверь плечом подпирает, потому что ухажер рвется. Да хоть бы еще один. А то этот в двери, а двое других на подоконнике висят, один цветы ей бросает, по одному цветочку, а другой рожки корчит. Позвал я Нухмана, посмотрел он на это дело со стороны, потом к ней: работа нравится? Хочешь работать? Нравится, она говорит. Хочу. Тогда, говорит, так. Платить тебе будем как на вредном производстве. Даже молоко постараюсь выписать. А что-бы ничего не боялась, мы тебе вот что... Позвал сварщика, раз-раз ему быстренько — на пальцах. Тот завтра сварил из уголка каркас, потом сетку к нему приваривает. Клетка и клетка, что ты тут будешь делать!.. В клетке в этой двери железные, а запираются изнутри. Надо тебе выйти — пожалуйста, а если к тебе кто захочет — тут уж дудки, как говорится. Так в клетке и работала, пока вербованные не поразежались да пока девчат привезти не догадались — и из Иванова тогда, помню, и из Горького — много!.. А эту, что в самое трудное время связь с городом держала, я как-то потом встретил... Остановились, разговариваем. Замужем, спрашиваю, детишки есть? Нет, не замужем, детишек нету. А что, спрашиваю, так? А она: да, дядя Гриша, дура была. Все подружки повиходили, а я в клетке просидела... вишь, как оно. Оно кабы знал, где найдешь, где потеряешь...

И он глубоко вздыхает первый, а за ним уже мы с Казаковым, и хоть я намного моложе их обоих, вдруг ловлю в себе какое-то странное чувство...

Конечно, тогда она могла быть моей ровесницей, эта телефонистка, могла быть постарше, но сегодня, когда мне давно за сорок, я вдруг и с горечью и с болью говорю ей мысленно: что ж ты, дочка?..

А может, в этом и главное?

Может, потому так настойчиво и стучусь я и в свое, и в наше общее прошлое, что там оно все начиналось, все сегодняшнее, там оно завязывалось, там зрело.

Опять мне хочется подстегнуть себя: вперед — в пятьдесят девятый!

Туда! Туда!..

## ДЕВКИ ТАБУНАМИ

— Ты уже привык, что я тебе все о работе, да опять о ней, да снова о ней же... Подумаешь: вот задал!

Он, скажешь, уже ни о чем другом и думать-то не умеет, у него уже и эти извилины, которые на что-либо другое были ему даны, да-авно уже или выпрямились, или тоже на выполнение да перевыполнение переключились.

Между прочим, когда первую догму сдали, это уже сколько лет назад, должен был я на митинге выступать... Ну, без вашего брата не обошлось — сочинили для меня, естественно, яркую и, конечно, взволнованную речь...

Райком ее завизировал, и вручили мне шпаргалку, в которую я должен заглядывать.

А я еще молодой был, неопытный: заволновался, буквы перед глазами запрыгали, вот я и читаю и ору в микрофон: «Дорогие товарищи!.. В этот незабываемый для нас день!.. В этот знаменательный час!.. сердце перевыполняется гордостью!..»

Гляжу, а у всех, кто на меня смотрит, — рот до ушей.

Что, думаю, такое?

И только тут до меня дошло.

Сунул тогда я эту свою шпаргаленцию в карман, и давай так, как еще царь Петр нам наказывал, — без бумажки... И с тех пор всегда без них выступаю. На любом собрании. На любом митинге. Не нравится, что без бумажки, — пожалуйста, пускай кто другой. А я только без нее. Точка.

Однако я опять за свое!..

Да только ведь это не для одного меня, а для нас для всех, кто по таким стройкам, как наша, по таким поселкам, как Антоновка, жизнь и работа — это одно и то же. Вот только когда рванешь в отпуск, тогда только всеми правдами и неправдами и заставишь себя хоть на время отключиться да забыть, понимаешь, о работе.

Ну так вот: приехал я в Прибалтику. В Латвию. В известный тебе, конечно, город Юрмалу. В дом отдыха. Ну и конечно, опоздал.

Доперевыполнялся, пока в люкс вместо меня кого-то другого поселили.

Решали они теперь, решали, как со мной быть, и ничего решить не могли: все, говорят, уже забито. А потом в регистратуре и предлагают: а что, если мы поселим вас в отдельной комнатке в коттедже на самом берегу?.. Удобств, мол, там никаких особых нету, в душ придется вам в главный корпус бегать, зато кругом — одни сосны и тишина, только слышно, как море шумит. И веранда на солнечной стороне, и отдельный вход, сам себе хозяин: как хочешь, так и живи.

Долго раздумывать, как ты уже, может быть, понял, я не умею. Подхватил чемодан и вслед за шустрым старичком пошел по тропинке между соснами.

Идем, старичок этот мне и говорит: нет-нет, вы не сомневайтесь. Для того, мол, кто понимает, комнатка эта будет почище любого люкса, вы еще спасибо нам

скажете... Правда, есть, мол, одна опасность: там перед вами жил известный артист — и тут он фамилию называет... Слышали?

Ну как же, говорю, как же!

Так вот, открою, говорит, вам маленький секрет: дело в том, что артист этот — большой специалист по женской части. Ходок, каких нынче поискать. И девки, говорит, к нему в эту комнатенку табунами бегали... Так что придется вам, говорит, быть в этом смысле начеку: по старому адресу и к вам обязательно пожалуют. Это уж в курортной жизни закон!

Скажу тебе как на духу, да сердце у меня тихонько ёкнуло. Этого мне, думаю, для полного счастья и не хватало: чтобы они ко мне, значит, табунами. Только так.

Но вида не подал, говорю спокойненько: ну и что?.. И я, мол, — старый боец. И вообще — парень не промах.

Держу марку.

Старичок поддакивает: и верно, всем бы, мол, такие заботы!

И как бы вскользь говорит: купил бутылочку коньячку, коробку конфет рядом поставил — и все дела. И вы угощайтесь на здоровье, и себе налью рюмочку. Для поддержания тонуса. А там видно будет.

Этот, говорит, известный артист так и делал.

И странная, ты понимаешь, штука!

Вот я вроде человек самостоятельный. Некоторые считают, что даже слишком. Никому в рот заглядывать не привык. Одним словом — с норовом.

Но здесь, ты представляешь, поддался: первым делом смотался в магазин, купил и то, и другое, поставил в самом деле рядом на столике, и только тогда принялся чемодан распаковывать и раскладывать вещички...

Что со мною случилось?

Я так думаю: уж больно необычная для меня намечалась, ты понимаешь, перспектива. Или, считаешь, нет?..

Не знаю, может, к тебе и в самом деле девчата табунами, значит, ходили, а со мною до сих пор такого не было... В практике, как говорится, не встречалось.

Нет, в самом деле. Ну, было когда-то, чего скрывать. Так сколько воды с тех пор утекло?.. Может, возраст уже не тот. А может, и характер испортился. Ушла беззаботность, какая в этом деле нужна. Не могу я с легкой душой всех этих слов девчатам говорить, какие — словно ключик к замочку... И вообще.

Уж если только слабый пол возьмет мертвой хваткой... Уж если в такое положение попадешь, когда не только сам себя потом перестанешь уважать, но даже собственная твоя родная жена, коли про все узнает, и та — за то, что ты лопух такой, — тебя осудит, — разве что тогда... А так — нет.

Как Игорь Проничкин говорит: «Нам ли, гусарам, завлекать?.. Нам бы только отбиться!»

Раскладываю это я вещички по полкам, а сам то и дело в окошко поглядываю: не видать ли там еще моего табуна?.. Еще не скачет?

А за окном, скажу тебе, благодать: высокий да густой сосняк, а под ним свежая да чистая трава-мурава, и лишь поближе к моему крыльцу — заросли, какой-то кустарник там и тут...

И вдруг гляжу, быстрым шагом идет от моря по тропинке загорелая девчонка в модном купальнике — в таком, что вроде он есть, а вроде его и нету... Идет, и на окошко мое поглядывает — ну то есть явно ко мне направленье держит.

С какой-то своей шмотенкой в руках я замер. Началось, думаю!..

А девчонка, скажу тебе, была загляденье: писаная красавица из ансамбля «Березка». Только совсем молоденькая.

До кустиков дошла, шагнула от тропинки в сторону, остановилась ко мне лицом, смотрит в окно. И тут вдруг руками быстренько — к одному плечу, к другому...

Купальник падает, лежит в траве под ногами, а она на носочках привстает, приподнимает руки, словно к солнцу да к небу тянется, глядит вверх, а потом головкой дернула, и волосы у нее взметнулись и по плечам рассыпались... Богиня была!..

Богиня красоты!

Но я в тот миг знаешь, о чем подумал?

Как последний пижон, я испугался; это что ж у них так заведено было?.. Что раздеваются они еще на улице?! Это уж вообще против всяких правил — тут тебе никакой коньяк не поможет!

Или, думаю, пока не поздно, дверь на ключ?!

А она нагнулась, подняла купальник. Ловко его отжала, и вот уже снова в нем. Еще раз в окошко глянула, тряхнула пышными своими волосами и пошла по тропинке обратно к морю.

А я на стул плюхнулся, руки бросил вниз и вытянул ноги... Старый кретин! — думаю. Да это она ведь и прибежала, чтобы в кустиках свой купальник выжать, а ты за ней, выходит, как мелкий фрайер подглядывал — и не стыдно?!

Сходил я пообедать, зашел в библиотеку записался и только собрался идти наконец на море, как тут новенькое: тихонько так стучат в дверь.

А дверь выше половины стеклянная, с белой тоненькой занавеской, а на занавеске на этой, как на экране, вижу я темный силуэт женской головки, да еще какой силуэт!.. Такой подбородочек, такие губки и носик, такой лобик и такой пучок на затылке, что из-за их милых, ты меня извини, очертаний показалось мне, будто вижу даже длиннющие ресницы — это на занавеске-то!..

— Да! — разрешаю не своим голосом. — Войдите.

Дверь потихоньку открывается, а на пороге возникает опрятная такая, очень чистенькая старушка. Улыбается хитренько и говорит с акцентом: здравствуйте, мол!.. Меня зовут Текла Габриэлевна. Если повашему хотите, по-русски, — Фекла Гавриловна. Я у вас буду прибираться. Не могли бы вы поэтому сказать мне, какое время будет для вас самое удобное?..

И смотрит на меня Текла Габриэлевна, она же Фекла Гавриловна, и в самом деле так хитренько, как будто знает про меня ну все-все..

Когда она ушла, я и думаю: нет, брат!.. Не дожидаться тебе табуна, нет, не дожидаться!.. Тебя еще долго до того, как он прискачет, инфаркт хватит.

Что ты, в самом деле, говорю себе, Володя, — как пятиклассник?!

Пошел на море и для начала хорошенько поплавал, чтоб, как говорится, остыть, а потом лег в створке на песок, раскрыл книжку.

Но что-то мне, знаешь, не читалось... Слова одно с другим никак не складываются, смысл не доходит, а все приподнимаю невольно голову и вижу: то ножки в резиновых «вьетнамках» проходят мимо, то с педикюром — босичком, то снова — в тапочках, в расшитых золотом каких-нибудь остроносых туфельках, опять — босичком...

Может, думаю, это из табуна моего, а я и не знаю?..

И так я в конце концов разозлился и на себя, на мелкого человека, и на этот самый табун, который как раз, может быть, делал круги возле крайнего коттеджа.

Разозлился и думаю: сюда бы моих мальчиков, эх!.. Посмотрели бы мы тогда на этот табун!

Стал вспоминать и ребят своих, и города, куда нас судьба забрасывала. Вернее, какая судьба?.. Опять же она — работа!.. Это потом уж у кого-то вдруг да и получалось: судьба.

Может, ты не знаешь, так я тебе расскажу.

Как во всякой мало-мальски уважаемой бригаде, есть у нас четыре хахалы. Штатных.

По порядку так: хахаль-налетчик. Первый.

Это представь, что за парень: прилетели куда-либо в командировку, и ты еще, руки в карманах, комнату в «общаге», где жить тебе придется, осматриваешь, а он уже прифрайерился, уже перед зеркалом галстук затягивает, и одеколоном от него — уже за версту...

«Ну, я пошел, мальчики!..»

И вскоре или зайвится с какой-либо женской капеллой из банно-прачечного треста, или адресок в клюве принесет: «Скорее, мальчики, а то они там без нас замерзнут!..»

Тут на сцене появляется второй штатный — хахаль-перехватчик.

Объяснять не надо?.. Думаю, поймешь так.

Третий — это хахаль-звонарь.

Ну, у этого такая особенность, что он может начать действовать даже раньше двух первых. Самолет еще только снижается где-либо над Карагандой, либо над Тагилом, где третий хахаль-то отродясь не бывал, но он уже кричит на весь салон, что живет здесь одна законенькая бабенка, Машей звать...

Как ты понимаешь, у этого третьего простор для деятельности прямо-таки необозримый... Вот-вот!.. Занимается творчеством, как некоторые, верно! И тоже очень хочет, чтоб ему верили.

А четвертый — хахаль-тихарь. Самый серьезный человек в этом деле. Профессионал. Главный забойщик. Большой мастер и скромный труженик. Но ты попробуй добейся от него хоть словечка. Под пыткой ничего не расскажет.

Четверка дружная ребят, одним словом.

И вся любовь.

А что ты тут будешь делать, если в командировке вся жизнь — в свободное, как говорится, от работы время — вокруг этих четверых вертится?..

Повести весь «колхоз» в кино?.. А ты попробуй. Один устал, другой этот фильм уже дважды видел и рассказывал третьему, все уши прожужжал, а четвертый только что шел мимо кинотеатра — билетов нету...

Повести в театр?.. Он-то наверняка пустой. Но и тут сразу аргумент: у них тут, значит, никто не ходит, одни мы, дурачки, пойдем?

Позвать на лекцию?..

Ну попробуй.

А тут тебе сразу и кино, и драма с комедией, и диспут о супружеской верности, и персональное дело, и семинар на тему: «Тайны брака в свете последних достижений психологии», и еще что-либо такое же живо-трепе-щущее о мужчине и женщине, и все-все...

Случается, правда, и так, что жена вдруг к кому-то прилетит и, ясное дело, его застывает — затем и летела... Случается, вслед за кем-то исполнительный лист потом на Антоновку придет. Или еще какая-либо «телега» прикатит. Это уж бывает — судьба.

И хоть моих-то хлопцев господь хранил пока и от того, и от другого, и еще от многого всего, что может в командировке с молодым мужчиной приключиться, сделалось мне, когда лежал я на песочке один, отчего-то, понимаешь ты, так тоскливо, хоть вой, и я лежал, брат, и думал: отчего?..

Долежался до тех пор, пока стал уже «дрогаля ловить» — так говорили в детстве.

Прибалтика, что ты хочешь! И дело уже под осень.

И поймал я себя, конечно, на том, что не хочется мне в свой коттедж, в отдельную эту комнатку... А коли поймал, делать нечего — надо идти! Такой у меня характер.

И пошел. Как, и право, на казнь!

Однако, ничего, обошлось, никто меня на крыльце не ждал, никто на ступеньках не сидел и, когда я вернулся из кафе, потому что на ужин в своей столовой, конечно, опоздал, на шею мне из кустов тоже никто не кинулся.

Единственный, кто зашел ко мне в тот вечер, был этот шустрый старичок из регистратуры.

Там вдоль тропинки фонари меж сосен, и, когда увидал я его издали, обрадовался: во-первых, знакомый, что ни говори, а во-вторых, если табун примчится, то вдвоем оно как-то веселей...

Притащил я поэтому из комнаты на веранду столик и пару стульев, принес коньяк с коробкой конфет, и так хорошо мы с ним в тот раз посидели и «за жизнь» потолковали — ну так душевно!..

Пошел его проводить, он руку подает и говорит: легко с вами — человек, мол, общительный, и видел много. Да только одно плохо: бутылку-то мы с вами прикончили, а вдруг к вам завтра кто и заглянет?..

Я ему: обижаете, мол!.. За кого принимаете? Или я — не голубая кровь? Не монтажник?

Или, говорю, не сибиряк?!

Вот такая же, он говорит, натура и у артиста у этого, который перед вами жил: широкий человек!..

А как он, говорит, перед дамами-то своими произносил: «Шам-пан-ска-го!..» И пальцы как при этом выбрасывал!

Ты не замечал, слушай, что один и тот же человек в разных местах и при разных обстоятельствах сам на себя настолько бывает не похож!.. Ну не он это — и все дела!

Так вот и со мной было.

Или я тогда в Прибалтике сильно поглупел?.. Или случилось со мной что-то другое...

Но, как ты понимаешь, на завтра на столике в моей комнате рядом с коробкой конфет стоял уже не только коньяк.

Ни о чем другом, как только об этом табуне своем да обо всем, что с ним связано, думать просто не мог — ну веришь, как на стройке говорят, брат, — заклинило!

Навязчивая мысль, если по-научному.

Когда я накануне вечером спросил у старичка, что за публика, мол, в этом табуне, он ответил примерно так: и юные девицы из местных, или, как у вас принято нынче — «телки». И приезжие дамы бальзаковского возраста — по-вашему, кадрá «оторви ухо с глазом».

И вот я теперь, когда чувствовал подъем, начинал вдруг посмеиваться и сам над собою, и над этим пока еще обезличенным своим табуном.

Или ты, думал я о себе, Володя, — не вожак?.. Или — не пламенный трибун?.. Не оратор?

Вот придут они, а ты и стань перед ними на стул: «Товарищи женщины бальзаковского возраста «оторви ухо с глазом»!.. В то время как весь без исключения советский народ в едином трудовом порыве строит светлое здание, вы — целым табуном! — скачете кривой дорожкой вниз по наклонной плоскости!.. Вы забыли о наших высоких идеалах и стали жить по волчьим законам гниющего капитализма»... Ну, что там еще можно дальше?.. Ты это знаешь лучше меня — думаешь, с кого я пример этот взял, как не с вашего брата?

Вдохновить их, одним словом. Этих, из табуна.

Чтобы они всем табуном — на ударную нашу стройку.

Пусть там повкальвают.

А когда уже станут им вручать значки ударников, то уроню я умильную слезу, потому что только я один-то и буду знать, что теперь это — лучшая на стройке бригада, а был т а б у н.

Переставал я потом посмеиваться. Начинать всерьез размышлять.

Какие там еще, думаю, «телки»?.. Какая еще кадрá «оторви ухо с глазом»?

И вспомнилась мне, ты знаешь, одна давняя история... Странная! Вернее, это тогда, когда только произошла, показалась она мне странною.

Была у нас на стройке такая: Женька Страшила.

То есть фамилия у нее, конечно, другая, но я ее, к стыду своему, и не помню: как все ее звали, так и я... Привык.

А Страшилиха, понимаешь сам, потому, что... ну, не дал бог красоты. Не дал красоты, да.

Как у нас в поселке часто о ком-либо из таких девчат: страшной германской войны.

Формулировка...

Как божество. Как вдохновенье. Как гений чистой красоты.

А?!

И вот Женька эта. Ну, Женя. Да.

Ты-то сам хорошо знаешь, что на нашей бедной Антоновке кроме разных прочих приливов и отливов два были особенные: сперва девчат понаехало хоть пруд пруди, а парней — раз-два, и обчелся... То самое время, когда любой, метр с кепкой — жених был, что называется, на вес золота. Из-за каждого девчата чуть не дрались.

А потом вдруг наоборот: прибыл эшелон солдат демобилизованных — гвардейцы, красавцы все один к одному... эх, какие в самом деле были ребята! А с невестами дело плохо. Не подумали перед этим. Не предусмотрели.

Вот шучу вроде, а ты знаешь, побаливает... Может, и в самом деле подумать стоило? Предусмотреть.

Это мы тогда — зелень, ладно, но ведь где-то по кабинетам по всей стране сидели люди постарше. Отцы нам, можно сказать. А то и деды. У них-то должно было болеть сердце: мол, как там они, — внуки наши да внуки?..

Потому что из-за девчат и в самом деле дрались, да как!.. Тут уж «чуть» ни к чему.

Ну, а потом, когда уже поостыли... Когда уже в отпуск домой-то съездили да хорошенько там поогляделись...

Какие, мол, у нас на Украине девчата! А тут?..

А какие в Ростове?!

А где-нибудь в Краснодаре?!

К тому же заработков тогда на стройке не то что бы больших — вообще никаких, считай, не было! Сидели — зубы на полку.

И побежали наши гвардейцы кто куда. По всей России.

И потекли по нашей Антоновке горькие девичьи слезы... Ей девятнадцать, а она уже дважды сходилась и расходилась: сначала сама этого, метр с кепкой, бросила, не могла перед гвардейцем устоять... А через полгода гвардеец ей сделал ручкой.

Сколько судеб осталось поломанных!.. Сколько матерей-одиночек! Сколько пацанов-безотцовщины!

Вот и эта Женька Страшилиха.

Извини. Женя.

Перебивалась с хлеба на квас. Сынка растила.

А молодость своего требует!

В чем только небось себе на Антоновке не отказывала, а потом оставит ребятенка подружкам, тоже вдовам, которые пацанами не успели обзавестись, оставит, значит, причепурится и — айда с туристским поездом или еще что-нибудь такое, на что постройком, слава богу, для нее раскошелится...

И вот однажды. Ездил я в свой Минмонтаж на совещание. Иду потом по Москве и вдруг в самом

центре, возле новой гостиницы «Националь», вижу картину: стоит молодая иностранка, как две капли воды похожая на нашу Страши... на Женю, значит.

И с таким акцентом, что сразу и не разберешь, чего она хочет, спрашивает, значит, как ей пройти куда-то — подробностей этих я уже и не помню.

Сперва было я дернулся ей помочь, но меня уже какой-то парень опередил, такой симпатичный, знаешь, парень. Стал что-то объяснять, а потом жестами показывает, что и ему, мол, в ту же сторону, что проводит ее, и тут она засмеялась, и взяла его под руку, и они пошли...

А меня, знаешь, как черт дернул. Как бес подтолкнул. Тот, что слева, да.

А добрый ангел при этом и в самом деле, видно, отсутствовал. В командировке где-нибудь на Камчатке был. За кем-то другим там доглядывал.

Они уже, ты знаешь, довольно далеко отошли, а я их догоняю: «Женьк! — говорю. — Это ты, что ль?!»

Оба остановились, она удивленное лицо делает, а я — ну что ты со мною будешь делать, с таким дураком? Иду как бульдозер.

А я, говорю, сразу тебя узнал, Женьк, — чего это ты?!

И тут она как зарыдает!..

Знаешь, мне и сейчас стыдно.

Рыдает, захлебывается слезами, а сама кричит: ну какая же ты, Бастрыгин, свинья беспросветная!.. Ну какое тебе до меня дело?.. Ну почему ты лезешь, куда не просят?!

Столько лет прошло, а я плач ее этот до сих пор слышу.

Но ты понимаешь, какая штука: надо было этому, видать, произойти, чтобы я хоть чуть потом, да все-таки, брат, задумался...

А тогда что?..

Повернулась она и побежала...

Да это бы полбеды.

Она потом из поселка уехала, вот что.

Раньше я только подозревал, а теперь уверен: из-за меня.

Наши дома напротив стоят, и, думаю, мало приятного ей было чуть не каждый день со мною встречаться.

Я только Наде своей и рассказал, больше никому, на это, спасибо, у меня тогда хватило ума, а она, может, решила, Женя бедная, что я на всю стройку расстрепал, представляешь?

А ей-то и надо было всего: две сотни метров в центре Москвы, значит, пройти под ручку. И хоть на это коротенькое время человеком себя почувствовать. На эти три-четыре минуты.

Может, думаю, и здесь так?.. С табуном с этим.

Какая-нибудь бедолага вроде Жени посидела полминутки на краешке стула, от конфетки, которую ей этот артист предложил, чуток откусила, а то и рюмочку коньячка пригубила — и счастлива потом на всю остальную свою жизнь... Будет ей чем и себя утешить, будет что и подружкам в какой-либо глухомани сибирской рассказать — лишь бы только те ей поведали!

Вот она и вся тут, думаю, как на ладони, эта кад-ра — оторви ты ей «ухо с глазом».

Вечером опять этот старичок, из регистратуры, ко мне заглянул, опять мы хорошенько посидели, и я с ним своими мыслями по женскому, значит, вопросу поделился, и он поддержал меня и вроде бы тоже сла-бому полу посочувствовал, и тем самым сильно меня растревожил, потому что я уже теперь, конечно, что называется, созрел для откровенного разговора с са-мим собой — о нас с Надей, о наших с ней отно-шениях — это чтобы слово «любовь» лишний раз не произносить, — о нашей с нею совместной жизни...

Сложная это штука. Сложная!

То есть, боже упаси тебя, как говорится, поду-мать, что живем с нею плохо — нет! Знаю, что она меня любит до сих пор, хоть это, говорят, с годами проходит. И я ее тоже люблю, и она это хорошо зна-ет... И я в ней нисколько не сомневаюсь, и она мне, в этом-то я убежден, крепко верит.

Так чего же, ты скажешь, вам не хватает?

Попробую тебе объяснить.

А начать придется с того, что Надя моя, перед тем как нам встретиться, успела, брат, пережить эти са-мые два прилива, о которых мы с тобой тут толкова-ли, да при этом ой как хлебнуть!

Потому что был у нее и этот самый муж, что метр с кепкой, и не жила она с ним, а мучилась, бедная, — по-моему, об этом ей до сих пор вспоминать страшно. И был потом этот самый, из гвардейцев, с которым она хотела новую жизнь начать, да только и она у нее не получилась — по тем же самым общим причинам, о которых мы уже толковали.

А теперь представь: Надя моя из тех самых сибир-ских наших девчонок, которые еще в пятьдесят вось-мом всем классом на Антоновскую площадку приеха-ли. И были они тогда все, за самым, может быть, ма-лым исключением, восторженные дурочки, ты ведь знаешь, как в школе к настоящей-то, вздравдашней, а не книжной жизни, у нас готовят: такого наговорят об открытых перед всеми путях-дорогах, такую счаст-ливую судьбу пообещают, что они потом, бедные, че-рез розовый этот дым обещаний годами будут проры-ваться не то чтобы к настоящему пониманию того, что происходит на белом свете на самом-то деле, а даже к той мало-мальски реальной точке, от которой уже можно будет отправиться в другое путешествие — на этот раз уже с трезвым представлением, что тебя мо-жет в путешествии этом ожидать... Ты меня понима-ешь?

Потому что у меня-то это все давно наболело, а там, в Прибалтике, все стало на свои места, все офор-милось.

Так вот представь ты себе эту добрую, неспорчен-ную, несмотря ни на что, женскую душу...

Конечно, тут-то, после второй неудачи, она решает, что все, что никакого счастья с мужиками не будет и надеяться следует только на себя, тем более что надо сына растить — хорошо, что сын у нее не от первого, извини меня, брака, а, слава господу богу, от вто-рого, мальчишка и симпатичный и умница.

И вот она и на работе выбивается из сил, чтобы хоть как-то продержаться, и поступает в институт на вечерний — сам понимаешь, к какой дальнейшей жи-зни она себя, брат, готовит: больше никаких мужей, все, и только сама себе — единственная опора, и кор-милица в семье, и защитница.

Пришлось мне, брат, столько сил положить, чтобы уговорить ее выйти за меня замуж, и так потом при-шлось постараться, чтобы она хоть маленько забы-ла о своем прошлом да хоть маленько оттаяла...

Только в том-то и штука: маленько, да не совсем. Слишком глубокая, надо понимать, осталась в душе у нее рана.

Ну, и брал я на себя если не все, то во всяком слу-чае многие заботы по дому, пытался ей, как мог, об-легчить, значит, учебу, да только не такой она чело-век, чтобы пойти на халтурку — даже чертежи, кото-рые, как ты, может быть, знаешь, ни один уважаю-щий себя вечерник не делает, а отдает за них десятку какому-либо инженеру из «Сибгипромеза», — даже чертежи эти она сама делала...

А думаешь, все это время, пока Надя училась, не хотелось мне ребятенка? Думаешь, ее не уговаривал?

Хороший мальчишка наш первый сын, и отноше-ния у меня с ним сложились самые, брат, железные — слава богу, родного отца не помнил, когда пожени-лись мы с Надей, было ему полтора годика, и он до сих пор твердо уверен, что родной его отец — это я.

Но мне-то хотелось еще сына, ты меня понима-ешь?

Мне и первый словно родной — ведь я о нем часто больше, чем Надя сама, заботился.

Но хотелось мне и совсем родного.

И с большим опозданием родилась у нас в конце концов дочка, не девчонка, скажу я тебе, — ангел не-бесный. Такие дети, сам понимаешь, только от настоя-щих-то отношений — чтобы слова эти, про любовь опять же, не говорить...

Ты бы посмотрел в это время на мою Надю!.. И как расцвела, и как еще сильней ко мне потяну-лась!

Но думаешь, согласилась она взять тот самый за-коном положенный ей год, чтобы с дочкою посидеть? Куда там!

Она у меня экономист, но работала до сих пор не по специальности, а тут вдруг место подходящее под-вернулось, и она, конечно, пошла, ну а как же! А ма-ленькую Марусю мы — в ясельки.

Ясельки-ясельками, однако...

А вообще-то ты знаешь, как пеленки пахнут, когда стираешь?.. Я помню до сих пор. И не подумай, что говорю об этом в каком-то плохом смысле, нет, брат!.. Я и сейчас еще стирал бы и стирал, лишь бы только было за кем.

Но еще одного ребятенка мы себе так и не позво-лили — некогда!

Удивительная, скажу я тебе, штука... Вот, допу-стим, встретились бы мы с тобою лет эдак двадцать назад, когда не то что на месте промплощадки пу-стырь был, а еще и там, где поселок. Встретились, и ты б мне сказал — вы же, писатели, — провидцы,



предсказатели будущего... Вот ты бы задушевно так и сказал: а знаешь, мол, Володя, дорогой, вот построим мы тут настоящий город, да только не все в нем будет ладно, не все, как говорится, по уму. И найдется, мол, потом и у нас такие граждане, которые день-деньской будут ходить по этому городу и на газонах бутылки собирать, затем до вечера возле ларька толкаться, а после отправятся ночевать кто по подвалам да по стайкам, а кто — и по этим самым колодцам на теплотрассе... Ты представляешь?!

Да я бы рубаху на себе порвал, я бы в драку кинулся: как так?!

А ты поглядел бы, каких мордovorотов вытаскивают нынче из колодцев, поднимают их там с нагретых, значит, плацкартных мест наши дружинники? А милиция наша бедная?.. Почему?!

Я иногда так думаю: дали бы мне бригаду из этих ребят. С самыми широкими правами для бригадира... Не думай, пожалуйста, что я начал бы их колотить. Нет!.. Руки пачкать не стал бы. Но уж какой-нибудь способ заставить их вспомнить, как он пахнет, соленый пот, я бы сообразил, не сомневайся, и только удивляюсь, почему это без меня способа этого так до сих пор и не найдут, — может, руки, как говорится, не доходят?.. Или просто глаза, может, прикрываем на это дело — стыдно нам?

А у меня, брат, зла не хватает: его можно смело в плуг запрягать, потянет, а он возле ларька ошивается — зато бедные наши бабы, которым детей бы растить да мужей своих работающих обихаживать, — бабы эти светлого дня из-за работы не видят!.. Почему?

Не думай, что я хвастаю. Зачем? Нет!.. Но есть у меня в бригаде такие хлопцы, какие и в самом деле умеют чертоломить — один за пятерых. Не прибавляю. И разве, ты скажи, они не заслужили, чтобы на пороге, когда он, усталый, домой пришел, встречала бы его веселая и ласковая жена с кучкой умытых ребятшек, и чтобы в квартире у них все блестело, и был бы лад и покой?..

А у нас ведь в поселке так, что он уже и пришел, а она еще после смены где-либо в очереди стоит или с двумя набитыми авоськами по улице тащится.

Ты тут не подумай, что я какой-нибудь разложенец... Но хочется мне, понимаешь, чтобы жили мы все наконец по-человечески, чтобы хоть вечером, после дня суеты, сидели бы мы за столом всей семьей и ужинали не торопясь, и жена бы не выглядела при этом загнанной лошадью, а светилась от счастья, и чтобы дети мои держали вилку в левой руке, а ножик, извини меня, в правой — как на этих чинных банкетах, где приходится мне другой раз бывать и где я обязательно вспоминаю почему-то свой дом и свою семью... А может, как раз потому и вспоминаю?

Сколько я уговаривал свою Надю не есть на ходу!.. Одно дело — дурной пример для детишек. А другое — всегда мне кажется, что теряется в нас при этом что-то такое для человека очень важное. Важное, пойми, не для желудка. А для души.

Покраснеет, как девчонка, и согласится, что да, нехорошо, но вот потом приходишь домой и снова невольно замечаешь, что на сковородке с котлетами,

которая на плитке стоит, одной нет, только крошки от нее, а рядом на кухонном столе вилка, тоже в крошках, лежит — проглотила моя Надя котлету стоя, и привет, и уже белье гладит или детское штопает...

Ну, не знаю, что тогда со мной происходит: и жалость к ней — вечно она спешит! — сожмет сердце, и вместе с тем вспыхнешь: ну, до каких же пор?!

Ну, слаб человек, ну, каюсь, — да только не могу никак примириться!

Бывает, пожалеешь ее, сделаешь вид, что не заметил. Зато в другой раз!..

Как-то однажды вернулся я домой довольно поздно — тот самый случай был, когда мы до срока провернули одно дельце, скажу тебе, почти безнадежное, и я поехал Елизарова обрадовать: мол, вырвали!

Случилось это в конце квартала, в то самое время, когда всю нашу семью, хочешь не хочешь, лихорадит. Надя моя, говорил тебе, экономист, да теперь еще и большой начальник — в масштабах, разумеется, треста, — и вот, как водится, коли мы за квартал, за полгода, за год чего-то не сделали, то они там потом ночами сидят, эти бедные показатели за уши до плана дотягивают... И в тот раз.

И вот заявляюсь я, значит, домой уже после полуночи, первым делом, чтобы не стучать, снимаю кирзачи, а потом захожу на кухню воды выпить и вижу, брат, такую картину: лежит на столе обрывок коричневой этой плотной бумаги, в какую в магазине продукты заворачивают, а на нем половинка копченой скумбрии и тут же остатки от другой — кожица с плавниками и хвост на позвонке. Рядом недоеденный кусок черняшки лежит и ножик.

Такой был, выходит, натюрморт.

Те, кто меня мало знают, подумать могут, что на мне в любой момент можно выспаться — такой я спокойный. А я бываю знаешь какой взрывной?.. Из-за какой-нибудь вроде чепухи как перехватит горло — не найдешь, куда, брат, себя и деть.

Вот тут я тоже и взорвался.

Кто она для меня должна быть — законная моя жена, любимая моя женщина?..

Воздушное создание.

Неземное существо.

А это неземное существо на клочке замасленной бумажки режет нечищеную рыбу и уплетает ее стоя. Как последний, извини ты меня, алкаш.

Затрясло меня, шагнул к раковине, открыл тумбочку эту, где ведро с мусором, схватил оттуда горсть всякой дряни и сыпанул на бумажку рядом. Увидит утром — поди, поймет, что я этим самым хотел выразить...

Лег спать, да только мне никак не спалось, все не мог успокоиться. «Но ведь прав же я! — думал. — Но ведь прав?»

И в самом деле, разве чего-то невозможного хотел я от своей Нади? Ведь не о красивой жизни речь-то идет. Просто — о человеческой. Неужели у нас так никогда и не будет на нее времени?!

Да только сама ли Надя в том виновата?.. Пришла поздно. Дети уже, как могли, поели сами, а го-

товить себе одной не хотелось, да и устала наверняка — вот и решила перехватить, заморить червячка, и ладно...

В общем, не вытерпел я, поднялся, пошел на кухню, выбросил свое художество в плохое ведро — вместе с рыбой. Вытер со стола. Помыл руки.

Хватило ума.

И утром ей ничего не сказал, до сих пор не знает, как сильно мог я ее однажды обидеть, да вот на самом краешке удержался.

Но как-то в другой раз...

Заскочил домой злой как черт.

Бригада моя в те дни получила новый объект, работы навалом, а вот, как часто бывает, с первого дня у нас не заладилось — то шланги бульдозером порвали, то вдруг случилось замыкание, и будка наша чуть не сгорела, то украли сразу четыре баллона с кислородом... Такая полоса пойдет — тут уж надо ухо востро держать, как говорится.

Днем Проничкин за меня командовал, а я выходил во вторую смену, а бывало, прихватывал и третью. Между второй и третьей я тогда и заехал домой перекусить, но главное не это, перебиться мог бы и так, или ребята бы салом угостили, не дали пропасть — не в первый раз.

Но в тот день у нас получка была, а завтра раненько Надя моя собиралась на попутной машине поехать в Кемерово, могли разминуться, вот я и притаранил ей гроши, чтобы могла там пройтись по магазинам, кое-что купить ребятишкам.

Отдал ей теперь получку, умылся, за стол сел, она хлопочет, веселая — хоть маленькая, а командировка, все какая-никакая перемена в нашей скучной зимою жизни...

Но это я уже потом сообразил, что настроение у Нади было приподнятое, а в тот момент не заметил, другое в глаза, дураку такому, бросилось: что ем, понимаешь, всухомятку.

«Надя, — говорю, — а чего капустки не дашь?.. С маслицем бы постным. И лучку». А она: — «Да у нас ее, по-моему, нет, капустки». — «Как это нет?» — «Да так. Хотела купить, а потом забегалась».

Тут надо сказать, что я уже давно вел с ней тихую такую войну: за овощи, значит, на столе. Ну в самом деле: что-нибудь там особенное, за чем надо в очереди долго стоять или дома потом долго готовить, — это штука понятная, это ладно. А по мне, так была бы на столе картошка «в мундирах», от которой парок бы еще шел, да стояла бы тарелка с политую постным маслом капусткой да с порезанным в нее лучком, да сюда бы пару соленых огурчиков!.. Тогда и совсем праздник. Ну, вот такой я — что ты со мною будешь делать. На этом и сам вырос, и детей своих уже успел к этому приохотить.

Тем более что не где-нибудь живем, а в Сибири.

Слышал же ты, поди, эту байку, как россиянин у шорца спрашивает: «А фрукты в Сибири есть?» — «Колба, однако, а как же», — удивляется шорец. «А ягоды?» А шорец: «И ягода есть, тоже, однако, колба!» — «Ну, а хоть — овощи?» — «Какой ты, однако, бестолковый, я же тебе сказал: колба!»

И фрукт, и овощ, и ягода — колба! Черемша, значит.

Потому-то мы с Надей пытались по осени и кое-что засолить... Эх, брат, какая у нее выходит капуста!.. Это когда бабушка к нашему Ивану Чернопазову приезжала, еще в тот самый первый раз, она научила: надо под капусту на самое дно бачка кусочек черного хлебца положить, лучше с корочкой — он и горечь забирает, и хлебный дух придает. И ни в коем случае не солить в полнолуние, а только, понимаешь ты, на ущербе... Смейся, смейся!.. Какая, скажу тебе, по рецепту бабушки Анфисы выходит капуста знатная!

Но по этой самой причине, сколько ни запасай, всем своим колхозом съедали мы ее почти тут же, а потом, конечно, или на базар, или — в магазин... Сама-то Надя, случалось, не успевала, так я уж ей, помня об этой своей слабости, как говорится, всегда пытался помочь. Хошь опять смейся, а хочешь — нет, но в кармане у меня лежат обычно и две авоськи, и несколько полиэтиленовых этих мешочков. Как выдалась минута, так сразу в овощной, а то и до базарчика проехал, если с работы вернулся рано, а то и утречком туда добежал, если работать во вторую.

В общем, перебоев тут у нас почти не случалось, соленина всегда имелась, другое дело, что иной раз руки не доходят из холодильника ее, понимаешь, вынуть... В спешке заглянет, что поближе, возьмет, а где-нибудь в уголке стоит себе мешочек, а в нем помидоры плесневеют или капуста, глядишь, гниет.

За такое отношение к народному, понимаешь, добру я ее потихоньку воспитывал, наставлял, как говорится, на путь истинный... Не потому, что зануда, нет, да только мне и в самом деле бывает обидно: ну как же так?.. Мало того что в колхозе люди старались, так еще и нас потом, чтобы им помочь, от работы от своей отрывали... может, как раз я эту капусту и рубил с корня. А труд я и свой уважаю, и чужой.

А еще тут вот что. Ты мне можешь не верить, но я так считаю: посадил ты, предположим, картошку. Вырастил. А убрать не смог. Ни крупную не взял, чтобы съесть, ни мелкую на семена — чтобы на следующий год дальше росла и радовалась...

Не сделал этого — значит, ты ее как бы предал... Как бы вероломно нарушил свой дружеский договор с зеленым миром, который кормит нас — так, нет?..

А убрать, с поля вывезти, а потом где-либо на складе сгноить — тоже предательство: и по отношению к ней, и к себе. И преступление, если на то пошло, хотя в законах об этом и не сказано. И перед землею, и перед человечеством, и перед всеми теми, кто ест пока не всегда, брат, сытно.

Ты только не подумай, что я тем самым базу подвожу под свою семейную ссору... нет! Просто в тот вечер и в самом деле был я на взводе, и когда она это сказала, что капустки, мол, нет, встал со стула, подошел к холодильнику и давай доставать из него все эти банки-склянки да все кастрюльки. Достаяю и приговариваю: «А это что?.. А вот это? А это?!»

Ну и конечно, пока приговаривал, накалился, как тульский самовар, и в конце уже, конечно, ладонью по столешнице припечатал: мол, сколько можно?!

Надя моя ни слова не сказала, но вся померкла, доел я свой ужин при полном молчании, а на прощание только буркнул ей что-то, и был таков.

Дальше вот что.

Вернулся утром с работы, собрался поспать, а когда часы с руки снял и под подушку сунул, чую — лежит записка. Там у нас с Надей как бы почтовый ящик был, если переписка секретная и детей не должна касаться.

Достаю листок, разворачиваю. А там вот что: «Как я устала: и не хозяйка я, и неряха, и вообще такая-сякая!.. Я же ничего тебе не говорю, хотя основные свои обязанности выполняешь два раза в месяц».

Ну как, а?!

Я только глазами захлопал: ничего себе пироги! Вот тебе и скромница моя. Вот и неземное создание!..

Тут же, правда, я сообразил, что до такого текста, который она для меня сочинила, надо, конечно, человека довести... Допек, выходит!

Стал было припоминать себе в утешенье этот ее ворчливый, а на самом деле довольный, хоть и стыдливый, тон, каким, бывало, пыталась осаживать, если начинал вдруг заигрывать с ней в неурочное, как ей казалось, время: «Ну, когда ты уже остепенишься?! Когда уже успокоишься?!»

Вроде бы еще недавно такое слышал.

Или так оно и случается: недавно еще было, а сегодня кинулся — ваших нет, и, главное, как и не было!..

Месячишко-то, думаю, был для нас и в самом деле неурожайный!

Да только когда ж это было его и собирать, этот урожай, если все дни и ночи напролет горел на работе?.. Или это, думаю, отговорка?.. А на самом деле и правда кончился уже твой мужской век? Трудовые вахты с повышенными, значит, обязательствами довели. Сигареты. Бессонница.

И пора тебе, брат, на золотой корешок переходить — на наш сибирский женьшень. Заказать знакомым охотникам в тайге медвежьего нутряного жира. Или знакомым ребятам в Барнауле дать, значит, такое поручение: панты оленя раздобыть...

Кончилось, правда, тем, что взял я на пару дней отгул, сходил в баньку с веничком, отоспался, опомнился, а тут как раз выходной, и я откинул от гаража снег, вывел своего «москвичка», и мы с ней не то что сходили в кино — мы на машине съездили — знай наших!..

В общем, как водится в крепких семьях, стали мы после этой размолвки еще дружнее — до очередной, разумеется, мелкой ссоры, после которой и еще лучше зажили — теперь до следующей... Сел я ви! — как все понимающий Проничкин говорит. Только сам почему-то никак не женится...

После мне Надя потихоньку рассказала, что перед нашей ссорой, оказывается, всем своим отделом — а там у них женский монастырь — штудировали они

очередную ученую книжку, в которой, значит, и вычитали: все, мол, какие только бывают у слабого пола недуги, происходят от недостатка нашего мужского внимания...

У самой у нее в последнее время голова побаливала, у второй да у третьей нашлись еще какие болячки, а тут, как ты понимаешь, такое средство! Долой уколы, горчичники, таблетки с каплями — на него переходим. Кто против?.. Против — нет. Принято единогласно.

И они себе по этой, значит, ученой книжке чуть ли не индивидуальные графики составили: теперь заживем!..

Да только разве устоит, ты меня извини, такой хрупкий график перед другим: перед графиком, предположим, сварочных и монтажных работ на стане «четыре-пятьдесят»?.. Или перед графиком сдачи актов готовности узлов на сталепроволочном?.. Такие дела, брат!

То у него аврал, потому что кислорода месяц не выдавали, а теперь вдруг навалом завезли и приходится наверстывать; то надо выйти в третью смену, чтобы никому из соседей своих не помешать, из смежников; то остаться ночью, чтобы они тебе кровь не портили, под ногами, когда ты варишь, не путались...

А потом, конечно, с устатку — сам бог, как говорится, велел, и хоть дома-то он будет хорохориться, и выступать, значит, с предложениями по этому ее графику, и встречный план даже предлагать — ничего ему не обломится, в порядке наказания спать жена отдельно положит — вот оно, выходит, и все.

Не потому ли, я тебя спрашиваю, и пошли в последнее время все эти трамвайные разговоры, что настоящего, мол, мужика нынче и днем с огнем не найдешь, откуда?.. Слышал же, поди, эту байку — нынешние, мол, жены со своими мужьями только «на вы»: вы-гоню, вы-кину, вы-швырну, вы-брошу...

Может, тебе смешно?

А мне — нет.

Мало сказать, что горько. Поверишь — стыдно.

Но самое, брат, обидное, что это — правда...

Вот какие мне мысли лезли в голову, пока выглядывал я девчат из этого самого табуна, который до меня около знаменитого артиста пасса.

Каждый день, даже если я ходил на концерт или ездил в Ригу орган послушать в старом соборе, поджидал меня на моей веранде старичок из регистратуры, и вечер мы всегда заканчивали бутылочкой коньяка и душевной беседой на тему «мужчина и женщина» — во всех ее, как ты видишь, многочисленных аспектах.

А скоро пришла пора мне уезжать...

Один обошел я вечером берег синего моря, попрощался с белыми парусами вдалеке, с розовыми от заката чайками над головой, с коричневатым песочком, по которому катились желтые, уже покоробленные листья; в последний раз поглядел на облизанные ветрами серые дюны, на теплые огоньки в темных холодных соснах... В последний раз мы потом со старичком посидели...

Утром, когда уже надо было спешить на электричку, сделалось мне отчего-то так грустно, и я никак не мог понять: отчего?..

Может, оттого, выходит, что я постарел, что молодость и в самом деле уже слишком далеко позади. Может быть, кроме прочего, стало чуть-чуть обидно, что табун мой так и не появился — решили, не тот, как говорится, товар... Куда мне с артистами тягаться?.. Вот и обошли, вот и промчались стороной. Или только увидали — сразу учуяли, что не такой я, какой им нужен, боец... они ведь это за версту чуют: в хорошей ли ты спортивной форме да в полной ли готовности — или, как я, значит, весь в сомненьях да глубоких раздумьях?..

Странное было состоянье!

И жалел, что пролетевший месяц провел тут один, без своей Нади, и уже готовился мысленно к встрече с нею, а вместе щемило и другое: так и не подвернулось случая проверить все свои размышленья и об этом самом табуне, и о себе самом, и еще о многом, о многом... С одной стороны, вроде бы ничего такого не произошло, уезжать бы я должен с легким сердцем, а с другой — было такое чувство, что я ей все-таки изменил: вон сколько времени провел за разговорами о женщинах да со всякими разными мыслями о них.

«Прелюбодействовал в сердце своем?..»

Как сказал бы Проничкин — не только мастер ювелирной сварки, но и знаток Священного писания.

Но я ведь и «в сердце своем» не прелюбодействовал, а вроде бы даже укрепился...

Только вот не покидало меня странное ощущение обмана.

Присел я перед дорожкой на веранде, в последний раз глянул на море. Взял потом чемодан и пошел по дорожке между соснами.

Где-то уже почти перед главным корпусом спохватился вдруг: забыл кепку!

Оставил чемодан прямо на дорожке и скорым шагом вернулся.

Дверь в мою комнату была открыта, оттуда слышались голоса... Видно, уже новый жилец в ней располагался...

Мне бы кашлянуть или, может, стул передвинуть, как-то, в общем, о себе объявить, но вот я уже стоял с кепкой в руках, а в комнатке ничего не замечали, там шел громкий разговор.

— Прекрасный номер, нет-нет, вы не пожалейте! — кого-то невидимого мне уговаривал мой старичок из регистратуры. — Отдельный вход — как вам понравится, так себе и живите!.. Есть тут, правда, одна опасность, но я вам честно должен сказать: весьма приятная, да!.. Тут перед вами жил народный артист — может быть, даже встретили его, только что прошел по аллее с большим таким чемоданом из черной кожи. Так вот к нему табунами девчата бегали. Большой специалист по этой части... ба-а-льшой! А по закону курортной жизни, они, конечно, и к вам наведуются...

Этот, кого он уговаривал, негромко спросил:

— Вот так, да?

Может, мне это послышалось, но голос у него легионно дрогнул.

И я своею кепкой зажал рот, потихоньку, бочком, спустился по ступенькам, шагнул на дорожку, и — вперед! К большому своему чемодану из черной кожи.

Сел на краешек, взялся за живот, и тут меня провало: смеялся, веришь, до того, что слезы из глаз!

Как он меня, выходит, кинул?.. Этот старичок. А?!

Где-то, знаешь, внутри у меня, правда, потихоньку понывало: за что ж ты со мною так, отец? Разве бы я и без того, а просто, как говорится, за компанию, не угощал бы тебя коньячком каждый вечер? Сибиряк.

Монтажник.

Голубая, выходит, кровь тяжелой нашей индустрии. Ох и тяжелой!

Но большой обиды на него я, ты понимаешь, не чувствовал, а словно бы даже восхищенье какое испытывал и даже как будто радость от того, что лапшу свою он так мастерски по ушам моим развесил... Люблю, слушай, мастеров — чем бы они, выходит, ни занимались!

Поднялся я тут быстренько с чемодана, забежал в шикарный буфет в главном корпусе, втридорога отдал за бутылку коньяка, пошел с нею в регистратуру.

Старичка моего там не было.

Времени до поезда оставалось у меня всего ничего, даже если такси взять, уже опаздывал, и я не стал ждать, поставил бутылку на стол, за которым старичок мой в регистратуре сидел. Скажите, говорю, что это от Володи. От народного артиста. От сибирского друга. С искренней благодарностью за науку. И за пищу, говорю, для размышлений. О прекрасной половине человечества, о которой, замордованные своей работой, мы не так уж часто и размышляем.

Подхватил чемодан и — такси искать!..

## «ХОЧЕШЬ, ДАМ СЮЖЕТ?..»

У нас только пять утра. У них девять.

Поди, успел побывать на рапорте, где на этот раз обошлось для него без «вливания», забежал потом в свой кабинет, накинул на крючок пальтецо и руки потер, довольный: что бы такое теперь сделать?..

С Москвою в этот час девчата с междугородной соединяют запросто, потому что в такую рань никто сюда еще не звонит: беспокоить руководство дома не полагается, а родственников будить жалко. Со мною иное дело, я — друг, да к тому же он хорошо знает, что я, когда работаю, встаю затемно. Вот и хочется ему, ко всему вдобавок, проверить, сижу ли я уже за столом, а если еще в постели, то лишний разок подначить: мы, мол, тут на переднем крае давно чертоломим, а вы в белокаменной до сих пор там леживаетесь.

У меня вчера допоздна засиделись гости, тоже сибиряки, наши с ним общие товарищи. После полуночи проводил их до стоянки такси, а после, дабы лишить жену стопроцентной возможности утром поворо-

чать, добрый час еще убирал со стола и драил посуду. Ясно, я сейчас не работник!

Ему только этого и надо: «Спим, значит?»

И радости в голосе, радости!

С трудом приоткрываю один глаз: «Представь себе».

Как мало человеку надо!.. Медом не корми — дай над полусонным дружкой понздеваться: «А работать за нас — товарищ Пушкин?»

Я уже сел и пытаюсь ногами нащупать тапочки: «Александр Сергеевич, да...»

«И много у него таких нахлебников?..»

Он прямо-таки захлебывается от счастья. А я зваю: «Больше, чем ты думаешь, старичок».

Он меняет интонацию, голос у него становится деловым: «Хочешь, сюжет подкину?»

И я вдруг понимаю, что только потому он и звонит: с утра пораньше торопится меня осчастливить. Что ты тут будешь делать!..

Сколько крови сообща испортили они мне в старые добрые времена, когда наша Антоновская площадка еще называлась новостройкой! На каком-нибудь шумном вечере, в какой-либо бесшабашной компании все поют, спорят до хрипоты, помирают со смеху, а ты тихонько сидишь в углу, покивываешь сочувственно, а кто-нибудь проникновенно описывает тебе «всю свою жизнь с самого начала». Ох, я тогда этих застольных жизнеописаний наслушался!.. Потом, когда стали выходить мои книжки, они до белого каления доводили меня расспросами, кто в этих книжках есть кто, где в них Петров, а где Сидоров, и честно придуманные мною истории дополнял вдруг такими неожиданными подробностями, что мне и сказать-то было нечего — оставалось только руками развести. Теперь кто-либо из них нет-нет да и пришлет категорическое письмо и потребует от меня ответа: почему это я до сих пор так и не написал про Иванова?.. Когда наконец собираюсь написать?

А этот, не успел я, что называется, глаза продрать, спешит с готовым сюжетцем — ну спасибо!

Ясно, они убеждены, что сюжет в моем деле — это главное, а вот понять, что давно готовенькие, тысячу раз до тонкости обсосанные истории годами терпеливо ждут своего часа лишь потому, что мне, как говаривала мать, «за друзьями некогда», — это понять, конечно, сложно.

«А хочешь, — говорю я в трубку, — подкину тебе сразу три сюжета? Или пять?.. Чтобы ты заткнулся и дал мне еще часок покомарить?..»

Но на него это не производит впечатления.

«Заправку эту, между поселком и городом, ты помнишь, — говорит все так же уверенно. — Вчера было дело: стоит новенький «жигуль» последней модели, а около него малый, весь из себя, ключиком на пальце поигрывает, очереди ждет... Тут подъезжает «Запорожец» — старый-престарый. За рулем дедок. Хотел «Жигули» объехать и задел. Слегка царапнул. Ну, малый этот заорал как резаный, к «Запорожцу» бросился. Рванул деда за грудки: «Ах, ты, — кричит, — гнилой пенек, ослеп, что ли?!» И — по лицу... Захлопывает дед дверцу, «Смотри, — говорит, — сы-

нок, как мы это под Курском делали!..» Задний ход дал, а потом ка-ак врежет по «жигулю», тот аж подпрыгнул. Отъехал и опять ка-ак врежет!.. Малый во-круг бегаёт, благим матом орет, а дед знай долбит, только стекла сыплются да кузов трещит — то спереди поддаст, а то отъедет — и по багажнику. Ему самому что, у «Запорожца» мотор-то сзади... Разделал, как бог черепахе. А тут и сто машин вокруг собралось, и милиция как раз подоспела. Остановили дедка: «Ваши документы?!»

За четыре тысячи километров от меня он на мгновение умолкает — может, нарочно?

А у меня сон уже, конечно, прошел — я как тот самый полковой конь при звуке трубы.

«Так-так, — нетерпеливо поддакиваю. — Ну... и?»

«Герой Советского Союза дед. Бывший танкист».

И голос у него звучит так, словно герой — он сам и бывший танкист — тоже он.

«Нет, ты понял, о чем надо писать?!» И хмыкнул: мол, закис там!

Почему-то у меня мелькает: а может, это они придумали?.. Как это часто бывает — придумали всем городом вместе.

«Дальше-то что?»

«Что дальше? — переспрашивает он. — А ничего. Ребята-гаишники переглянулись, потом старший этому малому и говорит, сколько надо времени, чтобы «Запорожец» у отца стал как новенький?.. Чтобы — ни одной вмятины? Даем неделю. Через неделю доложишь, что все в порядке. А пока убирай отсюда свой хлам, не загораживай дорогу к заправке».

Я засомневался: «Так и сказали?..»

В голосе у него слышится легкое презрение: «А ты не знаешь Новокузнецк?»

Вообще-то это в характере города. Это его непримиримый нрав. Его вольный дух...

А может, все же придумали? Себе в утешенье. Всем железным и дымным своим, всем знающим себе цену гордым Новокузнецком придумали эту сказку, где зло наказано, где побеждает добро?..

«Когда, говоришь, это было?»

«Вчера. Мне Крошкин из автобазы позвонил, помнишь, вместе шишкарить ездили?.. Он как раз там был, на заправке. Расскажи, говорит, своему дружку, вдруг ему пригодится. Так что получай от него — вместе с приветом...»

«И ему привет! — говорю я уже растроганно. — Крошкину. И спасибо скажи, спасибо!»

«Ладно, — говорит он вдруг сухо. — У меня люди собрались... Ну, салют. Покемарь еще».

И в трубке слышен щелчок.

Издевается?.. Затравил, а потом — кемарь ему!

И пока я ставлю на плиту чайник, пока готовлю заварку, пока стою потом на кухне у окна и сквозь черное стекло пытаюсь всмотреться в еле заметную полоску осенней блеклой зари, снова и снова съезжаются они к заправке между поселком и городом — этот парень, который будет ключиком на пальцах поигрывать, и этот бедовый дед... А почему, собственно, бедовый? Может быть, дело тут вовсе не в характере, а в степени, предположим, обиды или в

чем-то совсем другом, мало ли,— что я знаю о нем, кроме того, что он герой войны, бывший танкист? Герон тоже живёт по-разному. Как он-то жил?.. И как до этого жил тот парень? Где работал? О чем постоянно размышлял? Если, конечно, размышлял вообще. С кем дружил? За какие деньги «жигуленка» купил? За свои трудовые? За папины? А может, машина и не его? У друга выпросил. Ситуация такая — позарез было надо. Или перегонял ее — товарища выручал? И тут эта досадная царапина!.. Нет-нет! Все равно — нет. Неужели из-за царапины на холодной жестянке старика ударить — чье бы там ни было, да гори оно все огнем!.. Или это для меня жестянка? Потому что не мое. А для него — «ласточка». Родная. И в ней живая душа есть. Он в нее вложил. Свою душу. А старик?.. Пусть он и не герой. А при чем герой? Старый человек. Сыном вот назвал. Отец...

Или виновато наше торопливое время с нервными его перегрузками, под беспощадною рукою которых, бывает, мы сами себя не узнаем?.. Ну, просто стеченье обстоятельств? Тот случай, когда люди почти бессильны это предотвратить? Электрический разряд. Вспышка. Которой, выходит, могло и не быть?.. Или не могло не быть?

И в конце концов, они непременно должны были встретиться — этот парень с новеньким «жигуленком» и этот бывший танкист.

Вот они съезжаются опять. Вот навстречу друг дружке катят по узкой бетонке между поселком и городом — по той самой, которая когда-то, в тот давний теперь год, когда ее только сдали, казалась нам такою просторной... Это была, скажу я вам, дорога!..

До этого на новостройку из города ездили по узкому мосту через Томь, по шоссе меж старых полей, весною стоявших почти по пояс в воде — через Топольники, а дальше краем Старокузнецка в гору, мимо этой полуразрушенной церкви, в которой венчался Достоевский и в которой потом был хлебозавод, мимо остатков каменной крепости — на самой макушке горы поставили ее казаки при Екатерине, — потом спускались вниз и долго еще кружили по болотистой равнине между деревеньками Верхней Островской и Нижнею.

Бетонка по уступу на середине пологой гряды стрелою вылетела к стальным пролетам нового моста, но, пока движенье по нему не открыли, дорогу тоже решили не трогать, в начале и в конце поперек полотна поставили на попа бетонные кольца, а сбоку прорваться на нее можно было только на мотоцикле — одни мотоциклы по ней тогда и носились, да как носились!

Однажды в воскресенье — чего же время терять? — собрались мы еще засветло, и тут вдруг выяснилось, что нет пластинок, почему-то ездили в город со своими и там оставили. Начальник комсомольского штаба Юшков — мы с ним за двумя подружками ухаживали — мигнул мне и повел головою на стоявший под окнами его мотоцикл, мы не раздумывая спустились вниз, сели и рванули к бетонке, а там, уже за кольцами, когда он газу поддал, я как вдохнул, так только перед городом и выдохнул. Там я, по-

нятное дело, нашел в себе мужество промолчать, но когда мы вернулись к своим, в компанию, все-таки не вытерпел: «Ну, Юра, чтобы я еще раз сел на мотоцикл с кем-либо чокнуться!..» Он только захохотал и стакан налил всклень — мы ведь тогда ох какие лихие были ребята, — а тут завертелся черный диск, под иголкой цокнуло, зашипело, и, выдавая виды, купленная вскладчину радиолоа начала выдавать «Рио-Риту».

Вот и опять я в нашем поселке. Вот и опять. Я тут часто бываю. Ох и часто! Днюю тут, случается, и ночую. А другой раз появляюсь хоть на минутку. Станет вдруг отчего-то тоскливо. Или не поймет тебя кто-нибудь. Да еще пухлым, никогда не выдавшим настоящей мужской работы пальчиком при этом вдруг погрозит... Очень тогда это помогает, тут же отправиться на Антоновку.

На этот раз мне припомнилось не ночное гулянье парами по отмошкам вокруг единственного пятиэтажного дома — среди вселенской осенней грязи. Не мебель из магазинных ящиков. Нет.

Припомнилась в этот раз рубаха. Знаменитая рубаха одного молодого спеца, обездвившая и наши города, и даже чужие страны. Обезддившая в то время, когда сам этот молодой спец, ее хозяин Валера Нечаев, оставался в поселке и продолжал себе месить эту самую вселенскую грязь или тоже, как многие другие, делал бесконечные круги по асфальтированным отмошкам вокруг общежития номер один — разумеется, женского... Ах, что это была за рубаха! У меня потом завелось много всяких, но купить хотя бы отдаленно похожую так мне нигде и не удалось, нст.

Она была белая, в мелкий черный горошек. И концы воротника имела округлые.

Но главное, конечно, не в этом. А в том, какая она оказалась чертовски крепкая!

Один — показаться родителям невесты ехал в ней в городишко Анжеро-Судженск, другой — летел в ней в Иркутск на совещание молодых строителей Сибири и Дальнего Востока, третий — выбивать поставки мчался в Москву.

Я в ней тоже ездил в Москву. Впервые в жизни — в издательство. Чрезвычайно вежливым, но очень настойчивым письмом пригласил меня добрый редактор Сякин. Потолковать о творческих планах, которых у меня, совсем в то время щенка, признаться, еще и не было.

Не знаю, что говорил Валера Нечаев, когда отдавал свою рубаху другим. Мне он тогда сказал: «Только не давай ей вина, договорились?.. Уж если что, лучше — беленькой. Но я вообще-то уверен, что ей с тобой и так будет весело!»

Нет-нет, братцы мои, это была рубаха что надо!.. А в прошлом году в Новокузнецке маленькая девочка в детском саду все плакала тихонько и плакала с самого утра, с тех пор как ее привели родители и оставили. А в полдень девочка умерла. И пришлось вскрывать. Она ведь перед этим совершенно здоровая была. Что случилось?.. А у нее, у маленькой, почки, оказалось, отбиты. Хрустальную вазу уронила она дома утром. И мать ее наказала, А отец не вступил-ся, а добавил еще и от себя...

Вы меня простите, люди добрые, простите меня, новокузнецчане, что не скрываю, где эта история случилась. Тем печальнее, что уже — за Уралом. У нас в Сибири...

...И когда они съехались опять на этой бетонке, которая когда-то была такою просторной, когда нечаянно старик задел «жигуленка», когда малый с колечком от ключика на пальце заорал и схватил его за грудки, когда старик захлопнул дверцу и руку его на рычаге скорости ударила давно забытая дрожь лобовой атаки, я, глядя в едва светлевшее окно, закрычал ему с прикушенной немой губой: «Давай, дед!.. Спасай, пока не поздно, отец!»

Потом был день уже с другими звонками, были обычные заботы. Была суета. Но нет-нет да и прерывал ее опять скрежет металла, вдребезги разбивал звон стекла, взрывались крики, и кусок за куском упрямо выстраивался сюжет, и хотелось немедленно все бросить и тут же сесть за него и не вставать из-за стола, пока не будет готов рассказ о неистовой ненависти и неистребимой любви.

В этом моем сюжете был он никакой не герой. Вообще-то я уверен, что и тот, настоящий дед, тоже был не герой — героем он стал уже после этого своего сражения около заправочной станции. Стал потому, что так захотелось городу...

Так вот, был он никакой не Герой, а просто инвалид, и в самом деле бывший танкист. В ту ночь менялась погода, и старик маялся,пил валокордин и утром поднялся только затем, чтобы вызвать «скорую», он ее уже вызвал, но тут позвонил ему из больницы старый товарищ, фронтовой дружок: дочь его, мать-одиночка, неунывающая неудачница, с мил дружком собралась на юг, а крошечного сына с чужими людьми проходящим поездом отправила к деду. В полдень этот поезд должен быть на маленькой станции в сотне километров от города, но деда, такого же одинокого старика, с вечера прихватило, пришел в себя только утром, и вот просил теперь выручить его, снять внука с поезда: больше некому. Этот, бывший танкист, хотел было заказать такси, но денег не хватило, все раздал до полочки своим молодым соседям, и вот тут-то он решает вывести из гаража под окнами свой старенький, с ручным управлением «Запорожец», на котором давно уже в дурную погоду предпочитал не ездить, и по дрожащей от гуда тяжелых машин, по отчаянно сигналящей, по обматерившей его не один раз бетонке торопится к поезду, и попадает в эту историю с «жигуленком», и едет дальше уже в машине сердобольных — вчерашние бетонщики! — ребят из милиции, потому что собственная разбита, а самого его, конечно, трясет; потом рядом с водителем в форме появляется еще и сестра из «скорой», так как вылезти из машины дед отказался наотрез, и они едут уже втроем, опаздывают, бросаются вдогон поезду и догоняют его на малюсеньком разъезде, где он стоит ровно одну минуту, и только уже с внуком своего старого дружка на руках дед позволяет себе расслабиться... Только в чем это выразится?.. Как? Вот это я еще тогда не придумал.

Следующим утром друг снова позвонил,

Будильник показывал чуть больше пяти, но я уже сидел за столом и, значит, тоже имел теперь моральное право разговаривать чуть свысока и как бы слегка насмешничать.

«Знаешь,— сказал он без предисловия,— назови эту историю, что я вчера тебе рассказал, «Последний бой». Ладно?»

«Да уж как-нибудь...»

И я хмыкнул и замолчал, потому что дальше могло последовать: сами с усами. Обойдемся, мол, без ваших мудрых советов.

«Это общая просьба,— проговорил он настойчиво. — Наша с Крошкиным».

А я сегодня был весел, как он вчера: «Ну-ну, если ты от имени трудящихся...»

«Он умер вчера, этот старик,— сказал он твердо. — Понимаешь, какое дело: инфаркт».

Опять они меня поправляли.

Но на этот раз я только ткнулся в грудь подбородком, опустил голову.

## СОКИ ЗЕМЛИ

И тогда я, сибирская вольница, обеими руками оттопырил расстегнутую почти до пуза рубаху и голосом загубившего не одну христианскую душу старого каторжника, который теперь готов был от умиления заплакать, а может, с ноткою потрясенного людской добротой бродяги проникновенно сказал:

— Сыпь, бабуля, сюда!

Но она не тронула чашу на весах, а жилойатой сморщенной ручкою начала по одному перекладывать яблоки мне за пазуху, переложила, и сухонькие пальчики тут же протянула к мешку, стала накладывать новую горку, опять с походцем, да еще с каким!.. Неизвестно, что больше было: сам вес или этот ее походец.

— Ешьте, мой внучек, ешьте!

Говорила и кланялась.

А я стоял перед нею с душой нараспашку.

Милая бабушка, если б знала, что ты в нее тогда вложила!

Но в ту уже довольно далекую теперь пору яблоки твои были куда спелее того, что так медленно зреет в человеческом сердце...

Не поклонился тебе.

Только с насмешкой поглядел на твоих соседей по базарному ряду — и на отпетое армавирское жулье, на поднаторевших армян-перекупщиков и на тех, в ком высокая плетуха из драни либо лыковой пестерья выдавали бывшего русака-северянина или перебежчика-чалдона, переселенца совсем недавнего: только-только поднял свой сад, только-только начал торговать — за тем на жирные кубанские земли да под щедрое солнце и приехал!

Когда шел потом по базару дальше, у меня был видок школяра-недомерка после удачного набега на чужой сад — тугие яблоки оттягивали рубаху не только на животе и по бокам, но лежали и за спиной.

Я выкатывал их оттуда по одному, и они хрупали на зубах так, что на меня оборачивались, это я помню, а думал я небось что-нибудь беззаботное: а чударесная бабка, и правда!.. Вот было бы законно, если бы она приехала на нашу Антоновскую площадку и стала там почти задаром раздавать свои яблоки. И я бы приводил на крошечный базарчик посреди поселка своих корешков, эту братву, которая съехалась к нам на стройку со всех сторон света, и от комсомольского штаба мы бы прямо там вручили ей грамоту — придумали бы какую, — а наши местные обдирали да приезжие спекули тоже при этом воротили бы морды...

Вернись к ней, парень! Чеговори с ней еще чуток. Нет!..

Разве мог я тогда предположить, что много лет спустя буду мучительно стараться припомнить и всякое словцо, и каждый жест?

Но останутся лишь общие черты того июльского дня.

Вот ранним утром с дальнего, набитого духотою поезда Новокузнецк — Кисловодск схожу я на сонный, но прибранный, уже с разводами от метлы, с пятнами после поливки, перрончик и в безлюдном и тихом привокзальном буфете кружкой сытного пива праздную встречу со своею богатой, всегда цветущей родиной... Вот иду по уютным улицам белого среди буйной зелени, среди ярких цветочных клумб городка, вот выстаиваю длинную очередь за билетом на старой междугородной станции, от которой пыльные, прокаленные степными ветрами автобусы тряслись тогда в основном до окрестных хуторов да станиц... Вот какой-нибудь симпатичной сверстнице, больше для того, чтобы с нею позаигрывать, поручаю присмотреть за полупустым своим чемоданом да тощим рюкзачком, которые любому уважающему себя армавирскому вору не навязал бы и силою...

И вот иду по базару.

С таким ощущением ответственный секретарь любимой народом многотиражки «Металлургстрой», органа парткома, стройкома и управления только что переименованного треста Сталинскметаллургстрой, член комитета ВЛКСМ ударной комсомольской стройки Запсибметзавода — первенца третьей металлургической базы на востоке страны — топал в тот июльский день между рядами, за которыми пожилые, в капроновых шляпах, граждане туго сложенными газетками — дабы и капля не унесена была безвозмездно — отгоняли от фруктов пчел...

И тут я увидел эту старушку, такую среди самоуверенной деловитости потерянную, и невольно спросил у нее, почем яблоки, и удивился: «А почему эт, бабка, так дешево?!»

Она печально и тихонько сказала: «Да мне, мой внучек, лишь бы скорей продать...» И в голосе у нее послышалось столько простоты и сердечности, что никак нельзя было не спросить: а что такое, мол?.. Что случилось?

Может, ее нечасто об этом спрашивали? Редко с нею тут заговаривали? Или настроенье у нее в тот день было особенное?..

Она пригорюнилась, проговорила вдруг так, словно мы с ней уже кто знает сколько знакомы:

— Случилось, внучек, еще давно... Еще в девятинадцатом. Когда к нам белые пришли. До этого, перед германской, хозяин мой яблоньку посадил, а тут она в первый раз хорошо родить собралась, стояла в самом цвету. А у меня доченька была... Младшая. Но что правда, то правда: бой-дивчина. Со старыми казаками заспорила, пошла им поперечь, вот и решили они ее проучить. К яблоньке к этой привязали и давай плетями... Пока, мол, от своего не откажешься, до тех пор терпи... А ты, по лицу видать, здешний, ты и сам знаешь, что такое норов казачий. Уж если уперлась, «брито», то уж хоть кол на голове теши, а «стрижено» сказать не заставишь... А заступиться и некому: отец ее так на германской и остался, только и того, когда соседи домой повертались, два «Георгия» привезли... А братья далеко, аж в Крыму где-то, один у белых, а другой у красных верхами друг за дружкой гоняются... Ну, и забили до смерти. Только с невестками да с внучатами так я на всю жизнь и осталась... А на яблоньку, ну, как порчу кто напустил — даже если и зацветет когда, то и опупочка не дождешься, еще до этого облетит вся. Как память доченькина стояла, росла да матерела. Бывало, гляну на ее — аж до неба стала высокая!.. А потом на меня, веришь, как затменье какое нашло: «Да что ж это она, думаю, всю жизнь без единого яблочка?» Решила ее спилить да порубать на дрова. Уж и соседских ребят пригласила, и за бутылкой в сельпо сбегала, и закуску на стол поставила... Слышу, а они пилкой: ширх-ширх!.. Тут я как закричу да из хаты как выскочу: «Ой, ребята, да простите меня, что я вас заставила, а меня, грешную, пусть господь простит — ну как же я такое могла?! Да что ж я чуть не наделала?..» Угостила их и отпустила, а сама слегла тут же, да так сильно переболела, еле живая осталась, и наши, и соседки все думали, это уже и все... А яблоня весною как зацвела!.. Верите, вся станица приходила смотреть, как она цветет. Да как пошла родить, как пошла! Одно в одно яблоки, да такие душистые да вкусные, да не то что червяка внутри, а даже сверху никогда и комашки никакой на них не ту... Я уж их и сушить да посылками, и знакомым раздавать, а много ты раздашь, если — станица да почти у каждого своя хата да свой сад? Пропадут, думаю!.. Рази не грех? И первый раз в жизни давай собираться на базар... А как приехала да как посмотрела, какие тут цены, да как люди по яблочку выбирают, да как у городских-то детишек глазенки блестят да слюньки текут, пока он дождется, когда ему мамка яблочко в руки сунет... Чего я тогда только не попередумала! И про доченьку свою. И про сыновей. И про яблоню. И про себя, старую да уже больную... И про весь белый свет. Про всех-всех. Это ж я, думаю, не раскумекала тогда, что и с яблонькою-то нашею тоже какое горе приключилось... Недаром же, пока они доченьку стегали, на ветках все до единого цветки пообсыпались. Может, деревце от стона да от крика людского тогда оцепенело? Может, в тот день и обесплодела моя яблонька? И уж когда только пил-



кой ее ребята доранили, тут она и вздрогнула и в себя пришла, тут она и очнулась... А может, думаю, так? Только тогда она снова по весне и услышала, как от земли соки в нее ударили. И уж если, думаю, господь возвратил ей материнство, то моя доля — яблоки собирать да отдавать добрым людям. Чтобы ни одно не пропало. Ни одно не погнило. Грех!.. С той поры и радуюсь всякую весну, и всякое лето потом маюсь. Другие яблоны через год родят, а моя теперь — ну каждое лето — без роздыха!.. Мне и в гору некогда глянуть: и нарвать-набирать, и на машину до города пристроить, и на базаре с утра до вечера отстоять... Оно и так бы людям тут сразу роздал, да и спасибо, что взяли, не погнушались, да только человек, он ведь, внучек, такой, что ему чем ни дороже, тем вроде того что надежней, а если дешевле, а то и совсем задаром, значит, думает, что-то уже не так... И смотреть начинают, как будто я не в своем уме, а там и сторонкой старуху обходить. Вот и стою, и продаю потихоньку. Чтоб не пугались да брали и у меня. Да еще чтоб дорогу до города оправдать, а то у меня другой раз, бывает, концы с концами не сходятся, такая торговка, а шоферам, им что, им бумажку отдай, а там, как ты хочешь... Тут, правда, в последнее время один наш шофер, мальчишка совсем молоденький, когда увидел что не спекулянтка, стал ко мне относиться... Да он и под двор теперь подъедет, и сам бежит за мешками, и на базаре все скинет, а когда не спешит, да еще и весы на прилавок принесет, такой добрый да уважливый, а денег никогда ни копейки... А что эти маклаки рядом станут, дак я к ним уже привыкла, когда кто не так глянет на меня, а то, бывает, и крикнет, отвернуся да «отче наш» про себя пошепчу, оно ко мне и не пристанет — ни глаз дурной, ни грубое слово. Господь, он все видит. Спасибо ему, хранит... Так что не сомневайтесь, внучек, берите у бабушки, у меня они совсем дешево, только куда вы положите?

И тогда я достал из кошелька свой совсем не длинный, с комсомольской стрейки, рублишко, положил на прилавок рядом с весами и обеими руками оттопырил рубаху на груди... А что касается голоса, то не свой он был, потому что я ведь тогда, молодкосос, и в самом деле считал себя уже всякое повидавшим бродягою, но тут вот вышла заминка — неожиданно навернувшиеся слезы вдруг щипнули у бродяги глаза.

Как поздно это все бывает потом, ну как поздно!..

Помню, как во времена своего беззаботного студенчества, когда был дома на летних каникулах, я повез в соседнюю станицу, к сестре, мою родную прабабушку, уже тогда очень старую, но еще и при светлой памяти, и достаточно бодрую... Перед крутым подъемом она вдруг громко, на весь автобус, потребовала остановить, водитель зачертыхался, но стал, и я выскочил за бабушкой следом, думал, ей плохо, но она заспешила по обочине в гору, только за нею поспевай, а когда мы уже догнали поджидавшую нас на горе машину, сели на свои места и шофер, снова ругаясь, спросил, что такое случилось, она с укором ответила: «Вот интересные!.. Мы, когда на

покос, бывало, ехали, всегда тут слазили с брочки, чтоб легче лошадям... А если она теперь железная, что ж се — и жалеть не надо?»

Вокруг нас, что называется, грохнули, а хотевший, видимо, что-то такое сказать шофер только поперхнулся и всю остальную дорогу оборачивался и лишь ошалело смотрел на бабушку, а я сидел рядом с нею красный, как вареный рак, мне было стыдно, мне казалось, что моя девяностолетняя бабушка перед всеми нас оконфузила...

Потом, уже много лет спустя, я написал об этом рассказ, но все мне кажется, что до чего-то важного я в нем так и не докопался, что бабушка так и унесла с собой самую главную, может быть, человеческую тайну...

А так и не понятый до конца вздох отца посреди нашего с ним горячего спора? А неотвратно ускользающая от меня улыбка матери, которая, хоть она, слава богу, и жива, после многих несчастий стала совсем другою, как стал теперь совсем другим и я, ее первенец?.. А тихий взгляд, а кроткое слово, а приподнятые, сложенные щепотью персты многих-многих уходящих или уже насовсем ушедших от нас других, как в станину говорили, преждепочивших, кто делал, может быть, самую последнюю попытку наставить нас? Предостеречь. Охранить нас. Спасти.

Меня тогда уже считали писателем, уже вышло с пяток моих книжек...

Однажды в декабре, когда отдыхали с женою на Кубани, мы с тестем поехали погостить к его старшей дочери, которая работала тогда колхозным зоотехником в станице Бриньковской. Был прекрасный солнечный день, теплый и сокровенно тихий. В линейке, запряженной двумя ссловыми лошадаками, мы медленно тащились на ферму — сначала рядом с облетевшей лесополосою через пустые поля, а после мимо нестарого, в самой поре фруктового сада... Но странный это был сад!

Еще издавелека что-то в нем не только казалось непривычным, но даже как будто настораживало, и мы сперва лишь поглядывали и на чернеющие среди сквозивших макушек усохшие комки неснятых яблок, и на обломанные понизу ветки, а потом я остановил лошадей, к кованому завитку на передке линейки привязал вожжи, и мы свернули с дороги, пошли меж деревьев.

Не знаю, как у кого, а у меня зрелище осеннего сада всегда рождает печаль. Правда, это печаль особого рода. Так и хочется написать: возвышенная...

И в самом деле, разве в ухоженном, до весны приломкшем саду вам не кажется, что все отдавшие людям деревья теперь не только благообразно-пусты, но и как бы полны достоинства?..

Здесь почти все многочисленные подпорки были не убраны, а просто сбиты и среди догнивающих, прикрытых коровьими лепехами, раздавленных яблок валялись в загаженной перекопченной отаве... Сад был разорен и ограблен и тем самым как бы бесконечно унижен.

Словно бы для того, чтобы поправить жиденькие свои волосы, тесть мой, дослужившийся до полковника

ника, всю войну прошедший крестьянин, снял старую армейскую фуражку, но все же не удержался, горько и выразительно крикнул, и невольно рука моя тоже потянулась к берету на голове.

Вечером во время застолья, когда в доме сидели все главные специалисты колхоза и молодой председатель, чуточку хвастая, рассказывал о хозяйстве, тесть осторожно спросил.

— Ну, а сад вам дает что-нибудь?

— Дает! — хохотнул председатель. — В основном — одни неприятности. Этим летом яблок было, как грязи, а план у нас всего триста тонн. Отстрелились за пару днейков, предложили было сдать еще столько же, а нам: «Нет, братцы, хорош! И так завод не успевает, тем более что яблоки у вас больно крупные, в давилку не входят. Скажите спасибо, что эти у вас приняли...» Ну и что делать? Мы и туда, и сюда, как говорится, а кому оно? Наше дело солдатское. Сказали, главное направление — рисоводство, ты — руку под козырек и — кру-гом!.. Сперва я шефам в город позвонил, пару разков они приехали, набрали, сколько душенька пожелала, потом шепнули своим людям, чтобы потихоньку яблоки рвали, да тут сразу нашлись мудрецы, комбайны на полосе побросали и — на ростовский базар, а кто с шоферами договорился да на рефрижераторе — в Мурманск!.. Мне, конечно, выговорешник. А яблок, сколько уже ни брали — ветки не то что гнутся, а ломаются! — и посмотрел на хозяйку дома, руку протянул. — Может, у тебя в кладовке остались?.. Покажи, какие были!

Он вздохнул и стал закуривать, ладонью отогнал от себя дымок, но этот его жест был такой, словно он на что-то махнул рукою.

Из-за приоткрытой двери на веранду донеслось, как вылили в таз ведро воды, как шумно сыпанули в нее яблоки, и под торопливыми пальцами хозяйки они заскрипели молодо и упруго.

Тяжелые и тугие, словно исходившие изнутри зеленовато-желтым свеченьем, в drobных каплях на красных крутых боках, лежали они потом посреди стола на большом эмалированном блюде, и, глядя на них, нельзя было не подумать об удивительной щедрости земли, так благодарно ответившей на мудрый выбор Природы, в клочковатом огне бескрайнем мироздании предназначившей ей стать колыбелью живого, а может быть, и началом всего разумного...

— Так мы потом с ними что? — посмотрел председатель на погрузневшего моего тестя. — Принимаем решение пустить в сад молочное стадо... Неделю, а то и две коров туда как на выпас гоняли. Они и с веток снизу пообхватили, и, хочешь не хочешь, все деревья маленько пообтрясли — какая за ветку дернет, когда яблочко в рот возьмет, а какая боком потрется...

— Молоко тогда яблоками пахло, — вставила хозяйка. — Такое вкусное! Правда.

— А напоследок загнали мы в сад свиней, — рассказывал молодой председатель. — Чтобы они, значит, все, что еще осталось, подчистили...

Сидел я вместе со всеми за изобильным этим, который домылся от деревенских яств, столом, слушал

разговор, смотрел и смотрел на горку яблок посредние, но мне, как это случается, казалось, что все происходящее нереально и что на самом-то деле я не здесь, а в дальнем своем сибирском поселке: который уже час вместе с другими томлюсь в длиннющей очереди за твердым, как дерево, венгерским «джонатаном».

Вспомнил ли я в тот раз в Бриньковской об этой не покладаящей рук старушке с дорогого и самодовольного армавирского базара?.. Скорее всего, нет, тогда во мне еще не проклюнулось это чувство; чтобы такое случилось, я еще должен был и не раз и не два увидеть переломанные плугом, брызнувшие на черный пласт перезрелым семенем запаханые помидоры; вслед за колхозным агрономом из родной моей станицы Отградской, школьным своим дружкой, должен был пройти через громадное поле замерзающей под ранним снегом свеклы...

Залубеневшими пальцами агроном разгребал мерзлую ботву, тыкал ногтем в верхушку корня: «Представляешь, она еще живая... Ведь председатель, говорил же ему по-человечески: «Дайте нам сперва свеклу выкопать, а кукуруза обождет, никуда не денется». Помнишь, пацанами, бывало, в какие холода кукурузу жать на «ударники» ходили? Она любой мороз перестойт! А он нам: нет, и больше никаких. С меня за нее, говорит, голову будут снимать, если что, а уж если без вашей свеклы останемся — как-нибудь перебьемся!.. Заставил сжать первым делом кукурузу, а теперь свекла на глазах домерзает, а я уже ничего не могу, снег. Нет, ты представляешь, она еще живая?!»

Случилось, выкормившую нас в тяжелое время войны кукурузу скоро разжаловали, и королевою стали называть уже свеклу, которая должна была нашу жизнь сделать слаще, и это ради нее потом, ради сахарной свеклы, жертвовали, бывало, картошкой, удивительно вкусной в предгорных наших местах. Недалом еще с давних пор и доньше приезжают в Предгорье хоть с солью, а хоть с арбузами: менять мажару на мажару, бричку на бричку, прицеп на прицеп.

А после на Кубани стал потихоньку силу набирать восточный принц — рис. И чтобы не зависела Россия от капризов заграничных соседей, кубанцы пообещали довести его урожай до миллиона тонн в год.

И право, не удивился, если услышал бы, что на здешних чеках вода бывала куда солоней, чем где-то в иных местах, — столько пота пролили тут мои земляки. Но больно кольнул затем сердце неторопливый, со все понимающею усмешкой рассказ: «Ты, друг, нас знаешь: уж если что пообещали, из кожи вылезем, а дадим... И тут так. Мало, что от нескольких предыдущих лет добрую заначку на всякий пожарный случай, как говорится, оставили, решили еще для подстраховки согнать на чеки со всех концов технику — какую можно и какую нельзя... Вся тут была! Ну, и собрали его до зернышка. И сдали. Вместе с заначкою и правда миллион вышел — опять наша Кубань вперед вырвалась! Но сколько, если б ты знал, у нас за спиною всего остального так и осталось неубран-ным!..»

Остановись!.. Не довольно ли?

Подумай, как потом тебя на Кубани встретят.

Как меж собою переглянутся.

Что тебе скажут...

Или ты и в самом деле забыл, что за характер у всегда богатой и оттого, бывает, заносчивой твоей родины?

И вообще.

Разве ты уже давным-давно не прописан совсем по другому ведомству? По ведомству тяжелой индустрии. По черной металлургии, в частности.

Ну и валяй в свой пропахший газом Новокузнецк! Не можешь сразу же взять билет — отправляйся хотя бы мысленно. И там, среди непробиваемо черных домен, которые понастроили твои корешки, да среди прозрачных, как стеклышко, образов твоей промчавшейся юности ты и успокоишься, и отдохнешь...

А ведомство-то лишь одно на всех нас: человеческая душа.

И если прорастает в ней наконец посеянное когда-то доброю и щедрою рукой, будущему стебельку, наверное, все равно, под чем он ударил в рост: под пальм прошлогодним листом или только уложенным, еще горячим асфальтом...

Разве я виноват, что с каждою новой городской зимой я все явственней замечаю в себе как бы обратный ход времени?..

Если пять, всего лишь пять лет назад при виде щеголихи в дубленке, расшитой цветными нитками, я мог подумать, предположим, о красках праздничного Брюсселя, в котором оказался когда-то в дни рождения, то сегодня все чаще ловлю себя на том, что в подобном случае не одним только обонянием, но словно всею кожей ощущаю нутряное тепло снегами окруженного катуха, в котором на бабки привставшая над ягненком, только что увидавшим свет, еще слабая овечка умиротворенно слизывает с него тонкий студень последая...

...И самолеты самой новой конструкции все чаще уносят меня не в завтрашний день, а в прошлое — дальше, дальше... Кому-то, кто устроен иначе, это, может, покажется странным, а то и вовсе смешным, но сам я нисколько не удивлюсь, если однажды — коли даст бог дожить — пойму, что сам себе я уже как бы дедушка, и как бы прапрадед, и какой-то еще охчень и очень дальний мой предок... И все это вместе — я.

И я стоял в овощном магазине на Нижней Масловке около Савеловского вокзала в Москве, между «Молоком» и сберкассой, стоял и смотрел на покатые эти полки, где внаклон лежали и сморщенная, недоношенная землею картошка, и вялая, замученная на складе морковь, и раньше времени усохший чеснок рядом с полураздетым, несмотря на холода, маленьким луком...

Кто устроен иначе, может мне не поверить, но как перед сиротами, покинутыми когда-то, я вдруг горько заплакал от жгучего стыда перед ними.

Кем они стали! Кем они стали!

Плач по вкусной картошке?

Или по чему-то совсем другому?..

И тут я, бабушка, вспомнил!

И хоть стоял на заледенелых ступеньках в башмаках на толстой резине, вдруг услышал, как ударил в меня тугой сок земли, как по жилам пошел, словно по живому ждущего дереву, как толкнулся в сердце и налил грудь, как плечи распрямил, приподнял подбородок, заставил вихрами тряхнуть непокорно...

Я и яблоньку твою вспомнил, и плетью забитую дочь, и сыновей твоих, которые где-то в Крыму с шашками наголо бешено мчатся друг другу навстречу. И, подумав о земле, вдруг спросил себя: не забыл еще, чем поливали?..

И вспомнил армавирский базар. И представил многих из нас за его прилавком стоящими. Тот справку о досрочном выполнении, которой грош цена, втридорога продает, а этот — рапорт-скороспелку всучить старается... А и наш брат? Ему бы рассказ на двадцать страниц, а он тебе — трилогию на две тыщи. Другой за подсахаренный сироп как за настоящий мед требует. Третий и вообще стоит налегке, только кукиш держит в кармане — это и весь его товар драгоценный! — а цену-то ломит, а цену!..

А ты меж них стоишь и уже дрожащей рукою яблоки мне протягиваешь за так: лишь бы, что земля даст, не пропало, лишь бы людям на пользу.

А я шел домой, и складывался роман, в котором, как это бывает в минуту озаренья, все так удивительно ладно вставало на свои места.

И этот молодой председатель из Бриньковской, и тракторист, который работал на рисовых чеках, в романе были бы твои правнуки, все бы жили под Армавиrom, в нашем родном Предгорье, и они сидели бы утром за ранним завтраком, и председатель, старший по возрасту, мудренько выспрашивал бы про значки, а младший бы пил молоко и радовался после долгой отлучки: «Не, а кажется, яблоками пахнет, и правда... Сказано — дома!» А ты бы повязывала перед дорогой простую косынку, а мимо этот добрый мальчишка, разглядевший тебя шофер, таскал бы в свою машину скрипучие мешки с тугими яблоками и ставил бы их осторожно один к одному...

Но пока соберешься!.. Да и будем ли живы?

А пока ты, я твердо уверен, жива. Может, эта яблоня и дана тебе, бабушка, на долгую жизнь. Потому что ты, праведница, просто не сможешь умереть, пока она весною цветет и летом дает плоды. Пока подрастают яблоня помоложе...

Низкий тебе поклон, милая бабушка, издалека!

И когда я уже закончил писать это свое воспоминание и дал прочитать его младшему сыну, выросшему не в одном краю, а во многих — маленькое перекати-поле, так и бежавшее вслед за отцом, за перекати-полем побольше, так и бежавшее — по всей-то России! — сын спросил, уже в самом начале оторвавшись от строчек: «Что такое — походец?»

Стал ему объяснять: это когда на весах чаша с товаром перетянет другую, которая с гирьками. Понимасшь?.. Предположим, просишь ты килограмм, а тебе от щедрого сердца положили чуть больше — мальчик, бери, жалко, что ли?!

Он, как ни грустно, с детства слышать другое привык,

Когда мы с женой, не имея времени сами, отправили его в магазин, оба настаивали: в очереди будь посмелей. Да смотри, чтобы тетя тебя не обвесила!

Потому, когда я рассказал про походец, он с сомнением спросил: «А такое бывает?»

Слово, мальчик, придумал не я. Это старое слово. От предков.

Так бывает. И так быть должно.

## В ДРУГОМ КРАЮ...

Представляю себе картинку: как после полуночи входит к себе домой веселенький Крошкин в распахнутом сером плащике, с кепкою на макушке и в замызганных сапогах, как пошевеливает пальцами, словно все еще продолжает дирижировать одному ему слышной музыкой,— и тут в коридоре появляется не смыкавшая глаз его жена, молча окидывает его оценивающим взглядом и, увидав припухшие, все еще сложенные трубочкой губы, также молча наклоняется, за носок поднимает с пола очень — по причине большого размера — тяжелую, от бесконечных дождей давно не просыхавшую свою туфлю и опытной рукою с маху припечатывает каблуком не успевший омрачиться руководящий лоб своего супруга.

— Мамочка! — приподнимая скрещенные руки, кричит Крошкин. — За что, мама?!

Так оно и бывает!..

Еще пять минут назад я терпеливо корпел над очерком о родной станице. Вот начало: «Хмурым осенним вечером после дня суеты в слякотной продрогшей Москве, когда вдруг затоскует душа не только по теплу и свету, но и еще по далекому чему-то, без чего и жить-то нельзя, ставишь на плитку чайник и начинаешь доставать бумажные свертки да холщовые сумки с травами...»

Коричневатый, с цветами чуть посветлее, покорно слежавшийся зверобой ломаешь потом без всяких усилий, только хрустит; потерявшие белизну зонтики тысячелистника бросаешь в пустой кофейник абы как — зато с душицей потом принимаешься колдовать: сухие растопырки осторожно отделишь одна от другой, аккуратно чуть-чуть укоротишь и поверх всего остального бережно определишь в посудине стоймя. А зальешь все это крутым кипятком, с ней происходит чудо: когда упругий пар по тонкой трубочке стебелька заструится вверх, распрямятся вдруг мятые щитки тонконогих метелок, поблекшие венчики встрепенутся, начнут распускаться на глазах, скроют под собой сохлую зелень околоцветников, и, как среди знойного марева в июле, нальются и последний раз польянут удивительно нежным розовато-сиреневым цветом.

Прощальный этот миг чем-то похож на кроткое свечение безмолвной зарницы: она лишь слегка приподняла черное ночное небо, земные очертанья только напомнила...

Однако уже разбужены виденья.

Матерь сокровенных видений — душисто-горькая трава материнка с холмов моей родины!»

Благостное такое начало...

Дальше должно пойти, как ясным утром зимой спускались мы с коша на саях и, глядя на алуя макушку Эльбруса недалеке, на укрытые снегом белые пригорки под нами, я все покачивал головою и вздыхал — вот, мол, какая красота! — а старый конюх поглядывал на меня, очень довольный, и всё поворачивал по целику то влево, а то вправо, и мы все ехали, ехали — то вниз, к хутору, где ожидала меня машина, а то опять почему-то вверх, и я наконец спросил: а не очень, мол, долго едем?..

Дед усом шевельнул: «Да тебе ить, погляжу, нравится?..»

Я откликнулся благодарно: «Сто лет на саях не ездил, ну еще бы!»

«Вот и покатайся, а что? — сказал он. — Куда это нам спешить?..»

И опять повернул от хутора — оказывается, он, как мальчишку, катал меня!

Звали его дед Жора, так он тогда отрекомендовался у пастухов, а фамилию я забыл, помню, что записывал, точно, а если записал — значит, обязательно забудешь, у меня это как закон. Да только разве можно доброго человека, на несколько счастливых минут вернувшего тебя в далекие времена детства, оставить в очерке без фамилии?..

И я прикрыл колпачком перо, отложил ручку и полез в нижний ящик за блокнотами: дед Жора... дед Жора.

Чисто синело небо, пахло на морозце стариковой махоркой и отлетающим от лошади теплым парком, еле слышно все еще поскрипывали санки...

Я перебирал странички плотных, в четвертушку листа, записных книжек в твердой обложке, которые брал обычно в дорогу, наткнулся на подчеркнутое красным фломастером слово «оркестр», принялся было искать дальше, но потом вдруг вернулся назад: «Оркестр!..»

Почему это все-таки подчеркнуто? Почему — с восклицательным?

Еле слышно он уже зазвучал, этот оркестр, и я сидел за столом и тихонько прислушивался к себе: где играет?.. Может, как раз в станице — тот самый, который давно, еще до войны, создавал мой дядя, бывший «воспитанник» из военного оркестра в Сухуми, волею судьбы помотававшийся потом по белу свету больше, чем надо бы, и наконец осевший на родине, где дружки — «духачи» зовут его по старой памяти теперь с собой лишь тогда, когда идут «прятать жмурика»...

Почему-то я сразу понял, что нет, не там, а как бы в другом пространстве и в другом времени — да вот, на Антоновской площадке, где я прожил чуть ли не столько, сколько в станице, на Антоновке, да, теперь я знал это наверняка, и в мгновение ока из заснеженного Предгорья, с окраины родной Кубани, перенесся в Сибирь, под Новокузнецк, и музыка тут же сделалась слышной, выходит, верно, это Антоновка, только какой оркестр?

Тонко продудела труба, ударили, всплеснув, тарелки фанфар, ухнул барабан... Женский оркестр с на-

шей новостройки! А барабанщицей была... Кто же в том оркестре была барабанщица?

Девчонок тогда собралось на стройке хоть пруд пруди, а женихов — раз-два, и обчелся...

Эх, как они играли, наши девчата, как играли, когда потом встречали мы первый эшелон с демобилизованными гвардейцами! Звонкая надежда на скорое счастье рвалась из начищенных мелом раструбов, взвивалась в светлое от догоравших берез белесое небо, осыпалась на прыгающих с подножек широкоплечих красавцев, а барабан, встречая каждого, кто только появлялся в дверях вагонов, постанывал в радостном изнеможенье: ах!.. ах!.. ах!..

Нет-ка.

В этом, который я слышал теперь, оркестре пока продували трубы, пока лишь прилаживались к серебряным мундштукам... Ребята-монтажники из «музыкальной» бригады Жени Черникова?

Самолетом их отправляли из Новокузнецка куда-нибудь на край света — то в Ковдор, а то потом в Южно-Сахалинск, чтобы прошедшие огонь и воду командированные наши сварные на митинге по случаю пуска обогатительной или какой-нибудь другой хитрой фабрики услышали бы обязательно «свою» музыку. И они, черниковцы, получали по мерке неразбавленного спирта из рук Папы — своего управляющего Толчинского, когда в последний путь провожали тех, кому не повезло... А проводили они самого Папу? Прошедший Курск и Орел бывший танкист, после второго инфаркта он все-таки расстался с этой братвой, с монтажниками, решил напоследок побережться, стал в институте преподавать, утих, но было уже поздно, третий инфаркт достал его, когда он стоял за кафедрой... Хоронил Папу весь Новокузнецк, так оно и должно было быть, но я только сейчас, когда теперь прислушивался к себе за рабочим столом, вдруг с уверенностью подумал, что у Владимира Григорьяча, у Володи Толчинского на похоронах играли, конечно же, наши «старички» — Женя Черников с хлопцами...

Но эти не играли пока. Не очень умело они все продували и продували трубы.

И тут промелькнул шупленький Крошкин в неизменно сером плащике, исчез было, появился снова и стал прикуривать, сгорбившись, — как любой из нас на открытой всем четырем ветрам нашей стройке привык прикуривать. Выпустил, прищурясь, первый дымок, а когда заговорил, голос у него был и грустный, и одновременно насмешливый — тоже как у многих из нас, всякого повидавших на этой своей, будь она неладна, Антоновке...

Крошкин!

Не знаю, как у кого, а у меня когда приходит разгадка, когда непонятно какое чувство подскажет вдруг, что тебя уже давным-давно дожидается удача, о которой ты в суете чуть было не позабыл насовсем, тогда легонький, по странному ощущению почти неземной холодок обожжет затылок и по каждому из волосков проберется до корня, крошечным мурашом кольнет под кожу — уж прошу простить за этот, может быть, излишне физиологический, уклон в описа-

нии предчувствия счастья, да только в том-то и штука, что лишь оно тебе, лишь предчувствие только и достается — от счастья, которое не сбывается никогда.

Как же я, такой-сякой, на столько лет мог об этом позабыть?.. Ну конечно же — Крошкин!

Я тогда увидел синяк у него на лбу, хотел было сделать вид, что ничего не заметил, но он спросил почти задушевно:

— Ничего себе, да? Ни под какой пудрой не спрячешь!

Не оставалось ничего другого, как сочувственно спросить, кто это его так, и тут он дал себе волю:

— Ну, ты меня знаешь!.. Знаешь — нет? В жизни никого не боялся. Никогда! Где какой скандал, какая драка, кто бросается разнимать? Один только Крошкин всегда и бросается. Или когда шоферня из Донбасса задурила... Вербованные, помнишь? Кто унял?! Я!.. Взял вот так одного!

Сжатая рука его задрожала, на тонкой шее обозначились жилы. Но это была правда, насчет вербованных, и я согласился:

— Рассказывали!

— Вот! — охотно поддакнул Крошкин и поднял палец. — Но что я думаю: должен же человек хоть кого-то бояться? Хоть кого-то на свете?.. Вот я ее и боюсь, понимаешь, ну, не стыдно признаться: боюсь! И она этим пользуется. Причем без стыда и совести!

Я спросил — кто.

— Кто-кто! — проворчал Крошкин и стал закуривать. — Кто ж еще, кроме нее?!

В тот год у нас на стройке решили разделить автобазу на две. Одну назвали Антоновской. Другую Западной. Шутники говорили — потому, что находилась она на целых два десятка сантиметров западнее Антоновской. За недоломанной стенкой из недобитых панелей.

На самом-то деле это, конечно, не так. Западная потому, что завод-то будущий назывался Западно-Сибирский. И в том, что дали такое название, был как бы некий аванс, знак доверия, что ли.

Но доверия этого Западная автобаза, прямо сказать, не оправдывала, и на то были свои, самые что ни на есть объективные, причины. По крайней мере, в Западной автобазе в это верили свято.

Посудите, в самом деле: в Антоновскую отдали все дизели, там теперь только МАЗы, в основном новенькие, и водители перешли туда самые дельные. Старички перешли, что вы хотите, асы! И дело у них к тому же вполне определенное и только одно: земля. Отсюда и заработок. Отсюда и дисциплина.

Ясно, как божий день, что новое начальство, молодые хитрованы, которые-то и подкинули руководству стройки эту, насчет специализации, идею, будут теперь поплевывать себе в потолок и годами красоваться на Почетной доске, а кое-кому придется похлебать, ох как придется!..

Из техники в Западной осталось в основном старье недобитое: самосвалы — «зилки» да бортовые. А публика?.. Молокососы. Только вчера закончил курсы, в городе на работу не взяли: опыта нет, вот он и подался в Западную. За опытом. Два-три «зилка»

расцелует, да так, что в железный ряд своим ходом не поставишь, бульдозером придется заталкивать, и все, теперь куда какой опытный. Теперь можно обратно в город подаваться, теперь возьмут. Не база, а проходной двор. Отсюда и весь ба... кабак то есть.

Зато работенки!.. Все остальное, кроме земли. И кирпич, и бетон, и стекло, и еще что только можно придумать и чего придумать нельзя. Да еще прораба с мастером покатай. Извозчики!..

Плюс еще одна проблема — в Антоновской такой тоже не было. Там давно уже почти все переженились, детишками пообзавелись и по этой причине хорошо понимали, что главное для него — это привезти в семью рубль подлинней, а остальное уж как-нибудь. И жены водителей давились в электричке, как все, ездили на работу в набитых до отказа «коробочках», на часик раньше, если погода хорошая, выходили пешком. За кем ребята подкатывали к подъезду — только за отметчицами, но тут уж отдай, как говорится, не грехи. С отметчицей по дороге о многом можно договориться. Она и глаза потом прикроет, если у тебя «ящик» с земелькой не через край, и лишнюю ходку, глядишь, запишет. А это, как бы там ни было, все — на план!

В Западной работала в основном холостежь, женихи, ухажеры, но это ладно, это бы еще полбеды, пожалуйста, сколько душе угодно, женихайся, пожалуйста, ухаживай — только не за счет государства!

А они в диспетчерской душатся у окошка, «масло жмут» друг из дружки, руку за путевкой каждому удается ткнуть только вместе со сбитою с головы чужою кепкой. Зато вышел потом без пуговиц на рубашке, отдышался, пока мотор греется, из капэ выезжает и спокойненько заруливает в другую от стройки сторону. В женском общежитии принцесса его, видишь ли, ждет, хорошо, если губы уже успела нарисовать. Сажают и везет ее через всю промплощадку куда-нибудь аж за Костино болото, где принцесса температурщицей у бетонщиков работает... С нею-то о чем поговоришь?!

В автобазе телефоны трещат: выехал?.. А когда? А в исправном состоянии?.. А не мог обломаться?

А они по дороге еще могут остановиться, чтобы она в Голубом логу цветочков насобираала, тьфу ты!

Директор Западной автобазы Василий Спиридонович Колесников, которого обошли-таки на повороте эти молодые ухорезы с копиями дипломов у кадровички, со значком «Я — не дурачок» на кургузом, еще студенческом пиджачке, сам был шофером старой закалки, в приметы верил безоговорочно, но обо всех остальных предпочитал помалкивать, поскольку на план влияли незначительно, зато в последнем, женском вопросе спуска не давал никому... Сам он, отбарабанивший за баранкою всю войну, не подвозил никогда даже знакомых регулировщиц, а только беженок с детишками и сироток, и это повальное жениховство и всеобщее катанье девчат буквально выбивало его теперь из руководящей колеи.

Нет-нет да и не выдерживал, выезжал на бетонку, выходил из «Москвича» и ухажеров останавливал самодично.

— Ты как едешь?! — был обычный, на громком крике, вопрос.

Эти делали вид, что не понимают, вежливо клонились из открытой дверцы:

— А как, Василь Спиридоныч, как?..

— Т-ты кого, — кричал директор, — везешь?!

И тогда уже следовало жалобное, обращенное в другую сторону:

— Слезай, Нин...

Но пока вылезала Нина, за спиной у директора по бездорожью, по пустырю проскакивали «зилки» с Катями, Надями, Ларисами в кабинках... Что ты с ними поделаешь?

С молодежью вообще хлопот.

Автобаза страдала от воровства, которым без всякой совести и без всякой меры занимались городские водители. Проскочит ночью в гараж мимо дремлющего на капэ дежурного, поставит машинку с другими в ряд, отлежится в кабинке, пока все не разойдется, а потом выходит и грабит: что ему надо, то и берет. Некоторые умудрялись за ночь в новую резину переобуться полностью. Кто-либо из своих за путевкой вместе со всеми давится, а прибегает потом к «зилку» — тот на деревянных чурках стоит разутый...

Чтобы с этим делом покончить раз и навсегда, комсорг автобазы Женя Сотников, только что отслуживший в десантных войсках, предложил организовать «группу захвата», и он, Колесников, поддался на Женины уговоры, разрешил, но кончилось тем, что убежавший городской снес передком шлагбаум, а помчавшаяся через пустырь ему наперерез «группа захвата» врезалась в штабель кирпича, свет у них, видишь, вырубился. Хорошо, хоть сами не поубивались. А новую бортовую тоже в железный ряд пока поставили, на том и точка.

Думал директор, думал, как им жить дальше, потом собрал однажды свой «треугольник», пригласил главного инженера Зацепина и комсорга Женю, который после погони за городскими до сих пор сильно прихрамывал, и объявил:

— Нужен нам свой оркестр. Духовой.

Все только молча отшатнулись от стола с красной скатертью, а директор спросил:

— А что?..

И начал мысль развивать: почему люди из автобазы бегут? Потому как нет у них веры, что положение исправится. А без веры какое настроенно? Какая работа?.. А духовой оркестр, может, потому духовым и называется, что дух поднимает. Будет у них оркестр, тут все и подумают: значит, будет и праздник!

Колесников даже исторический пример привел: где-то он вычитал, был случай, когда шотландское войско устало так, что люди встать с земли не могли, а неприятель наступал, могла быть крышка, и тут старый генерал сам стал впереди музыкантов, этих, с волынками, они заиграли и пошли мимо войска, и солдаты плакали и поднимались один за другим и разбили французов. А может, и своих, англичан. В данном случае не имеет значения.

Исторический пример всех сразил. Решили прове-

сти большой воскресник и деньги целевым назначением перечислить в область.

Воскресник был с гармонистами — председатель рабочкома Крошкин выявил всех и организовал, — с бочкой пива после работы, и деньги перечислили, стали ждать. Но тут и разразилась гроза...

Партком новостройки решил заслушать отчет руководства Западной, и в автобазу пришла комиссия... Ну, и ясное дело: чего она только не накопала!.. Какое только лыко в строку не поставила!

Но самое, конечно, обидное, что прицепились к оркестру. Секретарь парткома Белый Иван Григорьевич почти все свое заключительное слово на оркестре этом построил:

— Нет, ты нам, Василий Спиридоныч, тут скажи: может, к вам на днях должны приехать вручать Красное знамя за трудовые успехи и вы по этому случаю оркестр заказали?.. Тогда почему мы ничего об этом не знаем?.. Или, может, с этим оркестром вы будете самых злостных своих прогульщиков встречать, когда они решат, что хватит наконец около ларька стоять, пора и в автобазе побывать, проведать директора?!

Парторг автобазы Мухин встал было и начал храбро пересказывать случаи из англо-французских войн, но провести историческую параллель так ему до конца и не дали, предложили сесть, и он все только усугубил. Дело известное: тут уж или кайся, или хотя бы просто молчи!

И директор с парторгом получили по выговору. У Колесникова это был двенадцатый выговор. У Мухина только пятый. Но зато — с занесением.

После парткома, уже поздней ночью, они сели в директорский «москвичок», и Колесников приказал: «Домой!» Это значило: в автобазу. Когда он собирался ехать на городскую свою квартиру, обычно он говорил: «Отбой!»

По дороге Колесников с тихой угрозой сказал: «Ну, если он сейчас спит!..»

Все поняли, что первым, как всегда, пострадает стрелочник.

Однако дежуривший на капе старичок тут же выскочил из своей будки, закивал им ласково, бодренько поднял остаток шлабгаума.

И везде, куда бы они потом ни пошли, был относительный порядок. И не чинилось никакого воровства. И даже в железном ряду никто не копался.

Они остановились посреди залитого черной жижей двора. Грязи было повыше щиколотки — весна!

— А что, если нам пожарников пригласить? — предложил комсорг Женя Сотников. — И смыть бы все, чтобы хоть асфальт стало видно...

Но Колесников уже знал цену Жениным идеям.

— А на все дороги разбитые, с каких они грязь сюда таскают, — тоже пожарников?!

Женя задумался.

Тут они увидели, что в кабинете директора горит свет.

— Может, уборщица забыла выключить? — спросил Крошкин.

— Никогда не забывает.

И они направились в контору.

Кабинет был закрыт на ключ. Посреди кабинета стояли большие деревянные ящики с нарисованными на боку черными рюмками и с категорической надписью: «Не кантовать!»

В то самое время, когда их песочили на парткоме, в автобазу прибыл оркестр.

Сначала они молча сидели около ящиков. Потом Женя Сотников побежал за топором.

Они открывали ящики, вынимали белые и желтые трубы и раскладывали на длинном столе с красной скатертью. Трубы блестели золотом и серебром, но кое-где на них был матовый налет, и тогда они оттирали его рукавом.

Потом опять посидели молча.

Поднялся Крошкин и снова начал заглядывать в пустые ящики. Шушшал толстой оберточной бумагой.

— А может, тут все-таки есть?.. Зимой их полагают протирать.

— Думаешь, и стакан для тебя туда положили? — хмыкнул Мухин. — Для комплекта.

— И сырок плавленный, — поддержал шутку Женя. О разносолах они тогда не мечтали.

— Вот это и все, что тут есть! — назидательно проговорил Мухин и ткнул пальцем в нарисованную на боку черную рюмку.

— А ты скажи? — спросил у Жени Колесников. — Когда вы персональное дело этого типа из четвертой колонны разбирали, вы хоть узнали у него, где это он ночью достает?

Женя посмотрел на директора, приосанившись. Поправил кепку и из кабинета вышел походочкой старого десантника

Вернулся он через полчаса. К этому времени Крошкин уже раздобыл сырок. Завалился у дежурного, который, оказавшись он спящим, первым должен был испытать на себе электрический разряд после парткомовской цепной реакции.

Потом они капнули на трубы. Помаленьку на каждую...

Неужель подведете, милые?!

Потом чокнулись.

Первым приладил к трубе мундштук и попробовал дунуть, естественно, Женя. Как самый младший. Самый нетерпеливый.

У него не получилось, и Крошкин укоризненно покачал головой:

— Молодё-ожь!.. — И потребовал: — Дай-ка!

— Что она, одна, что ли? — резонно ответил Женя. — Целый оркестр!

И Крошкину пришлось прилаживать мундштук самому.

Крошкину, в свою очередь, взялся давать советы Мухин. Но ведь давно известно, что лучше один раз показать, чем десять раз посоветовать. И захрипела третья труба...

Колесников сидел в сторонке и смотрел на них, как на детей. А может быть, думал, как в такой ситуации не уронить авторитет. Потому что в конце концов он выбрал барабан.

Взял колотушку, и тот отозвался глухо и грозно. Как барабану и полагается: б-бум-м!..

— Учитесь! — сказал Колесников.

И они взялись с новыми силами.

Они перепробовали все трубы, и каждый в конце концов остановился почему-то на самой большой. Только Колесников не изменял барабану.

— Водителям Западной автобазы — ур-ра! — кричал Женя, приподнимая сжатый кулак. — Спасибо за ударную работу, товарищи!

И тянулся губами к мундштуку висевшего на нем геликона.

Вслед за Колесниковым с барабаном у живота они шагали с трубами вокруг стола и дудели, а Женя опять выкрикивал...

Не подведите, милые!

Не подведут.

Они и до этого делали, что могли, и после будут выкладываться, как умеют выкладываться люди лишь на сибирских стройках, и, хоть заработают еще не по одному выговору, в Западную привезут-таки знамя, и другое перенесут, от соседей, от старичков «мазистов», которые тоже не так-то просто начинали на нашей Антоновской площадке, — рассказать?..

И оркестр будет греметь на торжественных собраниях, и впереди колонны на май, когда охрипший от усердия секретарь парткома Белый с трибуны выкрикнет в микрофон: «Водителям Западной — спасибо!» И наша многотиражка даст о них разворот под набранной крупно «шапкой»: «Транспорт — нервы стройки. Западная: порядок!» И портреты теперешних «молокососов», портреты уже остепенившихся женихов да ухажеров станут печатать на первых страницах столичных газет...

Все это будет, еще будет, а пока — такая минута, когда надо, чтоб распрямилась в тебе до предела сжатая теми самыми объективными обстоятельствами с которыми нарочно не считался нынче хитрющий Белый, лружина, и вот они — видел бы это секретарь! — маршируют вокруг стола, а уже через сорок минут предрабочка Крошкин получит в лоб... Ну и что ж тут? Ревнует — значит, любит...

...Он закричал:

— За что, мама?!

А его подтолкнули к зеркалу, причем «подтолкнули» — это, конечно, не совсем точно, но автор и так уж слишком увлекся, да простится ему, написавшему до этого столько идеально-прозрачных портретов своих товарищей по новостройке!

— Ты посмотрел бы на свои губы!..

Крошкин посмотрел. Губы и правда были у него выше носа.

Тут он стал клясться, что ничего такого не было, мама, а был партком, а после они поехали в автобазу, «треугольник» в полном составе, еще и этот мальчишка, Сотников, мама.

Ему позволили сесть на стул. Жена сняла трубку телефона:

— Не ругайся, что поздно... Твой пришел?.. Только что? А губы?.. Не посмотрела?.. А куда же ты смотришь?! А ты посмотри!.. А что я тебе говорила?..

А ты спроси!.. Ты молодая еще, ты слушай. Ты спасибо скажи... А то мы сидим тут, дурочки, дома весь вечер, а они, может, всей компанией... Что?! Уже не разбудишь?.. Что-что — что у него?.. Мундштук?.. Дверь им пробовал открыть, а ключи там оставил? Так-то сходится... Вроде похоже. Но я сейчас на всякий случай еще Капитолине Иванне позвоню...

Муж Капитолины Ивановны, уже окончательно уснувший, только бормотал еле слышно: там-па-па-па!..

Выходило у него, пожалуй, лучше, чем на трубе. А главное, что это тоже было к одному и тому же. Тоже «сходилось».

Тут Крошкин уснул. В коридоре на стуле.

— Ревнует — значит, любит! — сказал я ему, когда мы разговаривали на следующий день.

Он ответил насмешливо и вместе с тем радостно:

— А кто мне синяк утром пудрил, ну?!

И лежит на столе моем, и уже слегка пожелтел, только начатый очерк о станции на юге. И ждут, когда я вернусь к вечерним огням на теплом их коше под колкими звездами, уставшие за долгий день пастухи...

А я уже часто не знаю, где моя родина. Где родился и вырос или куда постоянно уносят другие видения? Молодости, прошедшей в ином краю...

## КРЕПКИЕ БАШМАКИ

Как это всегда бывает: у тебя ни секунды лишней, надо мчаться — скорей, милый, скорей! — но один из темных кругляшей почтового ящика, кажется тебе, призывно белеет, значит, уже успели сунуть газеты, половина десятого, еще бы, уже опаздываешь — а может, письмишко есть?..

И ты, секундою назад решивший в лифте, что почта — это потом, а сейчас — в темпе на автобус! — ты вдруг торопясь достаешь ключи и, прижимая портфель коленом к стенке, пытаешься побыстрее открыть давно уже испорченный замок, дергаешь погнутую ребятей крышку, пальцем оттуда газеты, пальцем, но все, как на грех, конечно, валится мимо рук, все на каменном полу, и никакого письма тебе — ишь о чем с утра пораньше: может, приятное какое известие... А может, — неожиданный интерес? Большие деньги?!

Дурак старый.

Лихорадочно закрываешь ящик, нагибаешься за газетами, в портфель их уже на ходу, в портфель, а дверь — ногою, но тут из общей пачки настырно выпадает сложенный до размеров обычного конверта, перетянутый полоской бумаги с твоим адресом родной твой «Металлургстрой», и ты, уже на пределе, подхватываешь его со ступеньки и суешь в задний карман брюк — только там тебе и место!.. Проклятая газетенка. Не бросать же...

Потом она нет-нет да и напомнит о себе в автобусной давке, и ты, уже слегка отошедший от гнева на нее и как бы даже слегка перед нею виноватый, подружески советуешь: терпи, маленькая, терпи, а то как бы не вынесли тебя отсюда вместе со штанами. Ты такая понятливая всегда была, имей в виду: «в



связи с отъездом детей в летние лагеря отдыха интервалы в движении автобусов увеличены»...

В массовом забеге от остановки автобуса до эскалатора метро тебе, конечно, тоже не до нее, но уже там, в вагоне, когда опять увидишь, как поголовно сидящий сильный пол, словно сомкнутыми боевыми щитами прикрывается газетами от сплошь стоящего слабого, когда с гордостью заметишь, как увлеченно склонились над книжками, разложенными поверх модных сумок на коленях, разномастные юные головки, и тебе наконец-то станет стыдно, что живешь ты в самой читающей стране, но, как все порядочные люди, всякий свободный миг не утыкаешься в печатную страницу, а все больше глазаешь по сторонам,— тогда ты, пытаясь тянуться стрункой, достаешь эту газетенку, словно бы для того и созданную такой крошечной, чтобы ее можно было бы без скандала развернуть между жиденьким начесом пожилой соседки слева впереди и вильгельмовским усом старичка впереди справа...

Глядишь на заголовки, и невольный, чуть ревнивый отклик на них — словно быстрый короткий разговор: с самим собой?.. С этой маленькой газетенкою?.. С теми, кто ее нынче делает?

Под рубрикой «Маршрутами пятилетки» — заголовок: «С хорошим качеством» — ну, спасибо, успокоили, братцы, перестанет теперь душа болеть, а то ведь с ним дальше некуда. «Готовятся к ударному труду» — это сколько же, любопытно, можно к нему готовиться? «От теории — к практике» — тоже давно пора бы, давно пора!.. «Нужны действенные меры» — еще как нужны, и да-а-авно нужны, ой-ей-ей — как! «Где смежники?» — это вечный вопрос, да. Посерьезней, чем: «Быть или не быть?..» «Дайте кирпич!» — глас вопиющего в пустыне. Кто его тебе даст, глупенький?.. «Дорога ложка к обеду» — свежо как... Если вдруг еще будет «Иван кивает на Петра» — совсем хлопцы исхалтурились... И вдруг ты буквально столбенеешь: да!.. Ну да. Да!

Кивает-таки!

— Выходите, мужчина?

— И портфель под ногами поставил — убиться можно!

— Выходите или нет?!

— Молчит, главное!

А я и правда не могу ни шелохнуться, ни слова вымолвить — столбняк! Ведь надо: угадал!

И хорошо, что и раз, и другой меня пихнули, потом портфель пнули, обоих, спасибо, в угол задвинули...

Несчастный этот Иван! Как же у него голова, у бедного, не отвалится — столько десятилетний кивать, кивать, кивать... Во всех газетах. На всех уровнях.

Дальше: «На объектах соцкультбыта: работы еще много»... Мы даже не представляем себе, как ее много, если Иван все кивает, кивает, кивает... «Откуда на Луне кратеры?» — черт возьми!.. Ну как бы я еще узнал, откуда на Луне кратеры, если бы не орган парткома, стройкома и управления треста «Кузнецкметаллургстрой»?.. Так, «В мире интересного» имеется, сейчас еще будет «Новое в строительстве» или

«Строительство за рубежом», что-нибудь такое... неужели нет?..

Это сейчас мы такие строгие, да, а тогда мы тоже, кхе-кхе, случилось, баловались...

А внизу — знакомая мордаха: рот до ушей, удивленно вскинутые брови, чуб кустиком... Сатирический герой Митя Подковыркин.

Опять, когда с ним встречаюсь, прикрываю на миг глаза, опять невольно повторяю, как позывные: Митя. Митя. Митька. Митюша!.. Митя.

Теплая ладошка в моей руке.

Что ж теперь?.. Привыкай.

О чем там Подковыркин сегодня?

«Куда царь не смог пешком пойти», угу.

Нашли сюжетец.

«Однажды царь приехал на строительство сталепроволочного цеха. Походил, посмотрел, похвалил расторопных строителей и вдруг на его чело легла легкая тень. Забеспокоились строители.

— В чем дело? — спрашивают.

— А где — это?

Скромно так спросил, стеснясь.

— Что — это? — не поняли строители.

— Ну, это, куда я всегда пешком хожу.

А сам оглядывается и за живот держится. Тут строители немного потускнели лицами. В самом деле, говорят, промашка вышла, такой цех отстроили, а про это место, куда царь пешком ходит, забыли.

А царь уже зеленеть начал. Чуть большой беды не случилось, да хорошо — проходил мимо Иван-дурак. Он и выручил.

— Что это вы, — говорит, — ребята, закручинились?

Царь объяснять бросился, беда, говорит, полцарства отдам, Ваня, если выручишь!

— Разве это беда! — смеется Иван-дурак. — Не надо мне полцарства — и так тебе помогу. Пошли-ка со мной в подвал... Только камушек возьми... меткий ты? А то прихвати два-три. Кинешь в лампочку, а когда свет погаснет, тут и... Все так делаем.

Снова прикрываю глаза, подбородком — в грудь, а газетенку свою повыше, чтобы рядом не видели, как хихикаю... Невольно представляю себе эту картину в реалиях: гудящий сталепроволочный, растерянного старенького Додона с золотой короной на лысеющей голове, неунывающего Ивана в полбсатых штанах и со шнурком поверх рубахи навывпуск. Представляю, и делается мне еще смешнее... хоть плачь!

А стоп, думаю!..

Может, взять это для повести?.. Какой царь — это директор завода Климасенко, это Дед со своею свитой идет по новому цеху и вдруг останавливается, у начальника цеха спрашивает: «А где — это?..» И поднимает потом с пола огрызок арматурины и спускается в подвал. «А вы, товарищи, за мной, вы за мной!» — и там дупит по лампочке...

А ведь Дед мог сперва зафитилить по лампочке железякой, а потом в темноте и в морду дать... разве не за что?

А вы расспросите про Деда на Антоновской площадке, расспросите хорошенько, и вам в числе других историй наверняка расскажут и эту: как он однажды

пришел в один из цехов, увидел на станине пыль и, отвернувшись от всех, руки за спиной, на станину внимательно уставился, и все, конечно, подошли, тихонохко стали, как водится, чуть позади и рядом, и тогда он поднял сухонькую руку и пальцем написал на станине это, о чем Шукшин сказал: «чудак на букву «м».

Потом обернулся, стащил с начальника цеха пыжиковую шапку и сперва тщательно отер о нее палец, потом, как со школьной доски, стер со станины шапкой свое художество и бросил шапку под ноги хозяину.

Но почему это — про Деда?.. Про них про всех, кто казался нам когда-то по иронии судьбы уцелевшими мастодонтами и до кого нам теперь еще тянуться и тянуться, иначе что мы оставим тем, кто — после нас?

О них обо всех.

А персональную заявку только сделай!

И несколько дней кряду Минчермет потом будет лихорадить. В нем ведь, никуда не денешься, с бору по сосенке — со всех больших да малых заводов понемногу. И бывшие новокузнецчане станут с жаром судить да рядить, кто есть кто, да верно все отобразил или неверно, магнитогорцы и криворожцы, лишь бы делом не заниматься, будут горячо им сочувствовать, а безвинной ответчицей станет в конце концов твоя родная жена, бедный экономист хозуправления, и тебе потом дома опять достанется на орехи, это уж как пить дать, и теория литературы вместе с историей тут не помогут... тяжелое дело — современность! И спецмолока «за вредность» не полагается.

Видишь, чего ему — спецмолочка ~~зато~~ хотелось!.. Спецмолочишка. Или забыл, старый дурак, что до сих пор в молодых писателях ходишь?

Давай-ка лучше о чем-либо другом. Что повеселее. О чем?

Хотя бы о счастливых временах там, на Антоновке... О том хотя бы, как он, твой «Митя Подковыркин» начинался... Как он родился, Подковыркин.

Митей звали сапожника. Работал в мастерской у нас на стройке. Мастерская тогда совсем крохотная была — единственная комнатенка в торце двухэтажного дома, одного из первых в поселке. Редакция помещалась в соседнем доме, совсем рядышком. А тогда ведь все было рядом — на маленьком пятачке, ну, предположим, сто пятьдесят на двести метров, располагались и управление треста, и все, какие только были в ту пору общественные организации, и все остальное: сельсовет, милиция, магазин, больница, столовая, почта со сберкассой, баня с парикмахерской, фотография, обувная мастерская... Уолл-стрит. Пикадилли. Гинза. Или, как тайно считали эти, из Комсомольскана-Амуре, фонари — Аллея Первых Сталеваров.

Как-то раз по дороге на работу я отдал в ремонт просивший каши ботинок, а до редакции потом вдоль этой Аллеи на одной ножке допрыгал... действительно, были времена!

Но это уже чуть позже. А сначала я думал, мне крупно не повезло.

Пришел в мастерскую в первый раз, протягиваю с

порога ботинок, обращаюсь ко всем трем сапожникам сразу: мол, кто поможет?..

Двое даже глаз на меня не подняли, много вас тут ходит, это ясно, зато третий вскинулся, сказал почему-то радостно: «Счас!..»

Уже по тому, как дернулась при этом у него голова, как слегка повело губы, ясно стало, что инвалид... Сначала странной, словно вприпрыжку, походкою с дамской туфлей в обеих руках он прошкандылял к полкам с готовой обувью, а стояло ему туфлю положить, кисти рук у него безвольно повисли на уровне груди, и, пока он прыгающей своею походкой шел ко мне, они беспомощно покачивались...

Я ведь еще мальчишка был — у меня бесплощадно пронеслось: этот тебе отремонтирует! Этот даст!..

Но поразительная штука: как только мой башмак оказался у него в руках, руки словно ожили, и пальцы заскользили по ранту, по подошве забегали с такою сноровкою, что, мне вдруг сделалось ясно: это — мастер!

Сколько я потом удивлялся странным этим рукам, которые мгновенно преобразались, стоило им прикоснуться к работе, к делу.

Так и хочется думать: целебная сила дела.

Починил ботинок он на славу, но это надо знать, сколько мне тогда приходилось бить башмаки — и по бесконечной, еще без дорог, Антоновке, и по улицам Новокузнецка, когда там в типографии версталась газета, и хотелось успеть хоть маленькую хлебнуть той, «городской», жизни...

И скоро я пришел в мастерскую и во второй раз, и в третий, и в десятый.

Как-то однажды Митя сказал: «Я стараюсь хорошо тебе делать, а ты все равно приходишь чаще других — мы ж тут в лицо всех знаем... Теперь вот спорим с ребятами: где ты трудишься, что обувка на тебе огнем горит?..»

Я сказал, что в редакции, и он рассмеялся: «Дак, значит, там ноги кормят?.. А я-то думал!»

Смеяться он любил.

Теперь уже, когда я старше, чем он был тогда, я размышляю: может, так часто смеялся он не от хорошей жизни?

Это раньше я тоже думал, что смеются, когда легкий характер и человеку весело... А потом со мною бывало так, что дома я сидел, мало сказать, грустнее грустного, хорошо, если держался — не плакал, зато на каком-нибудь дурацком собрании неожиданно для себя, чуть ли не единственный в зале, громким смехом отзывался вдруг на плоскую шутку очередного штатного оратора, и тут же мне делалось мучительно стыдно: вот, мол, скажут, какой все-таки жизнерадостный кретин — ничем его не убьешь!

А тут, пожалуй, просто натура брала свое: нельзя человеку без разрядки.

Это к слову. Но теперь я не думаю, чтобы у Мити, у того доброго сапожника, была такая веселая жизнь, что со всеми он шутил, всем постоянно улыбался. Скорее всего, он не сдавался, это раз. И для него необходимо было и пошучивать на людях, и вдруг вовсю расхохотаться...

А тогда отношения с Митей установились у нас самые приятельские, и часто он каким-то чудом, как мне тогда казалось, угадывал, что у меня в кармане — ни гроша, и тогда говорил: «Ты мне сегодня, не плати, ладно?.. Можешь обождать. Не плати. Пусть хотя бы трешник набежит — тогда уж сразу, а?..»

Вроде бы от меня хотел одолжения.

Часто я приходил с просьбой починить обувь тут же, при мне... Это сейчас могут вдруг позвонить из мастерской и спросить, почему не прихожу за ботинками. Сейчас я могу позволить себе не торопиться: валяется по шкафам десятка полтора пар самой разной старой обуви — хотелось бы думать, не потому, что омещанился и стал тряпичником, нет. Просто очень люблю крепкие башмаки, они для меня — как обещанье дороги, а значит, как было, по крайней мере, до сих пор, — ветра и воли. А во-вторых, стоит ли спешить, коли наверняка починили так, что глаза бы не смотрели: обувь чинить у нас разучились прочно.

А тогда я снимал чудом купленные в Москве туристские башмаки, единственную свою и бесценную обувку, в которой и лазал по котлованам на промбазе, и ходил на вечера в Дом молодежи, снимал, протягивал Мите, а сам садился перед сапожниками на высокий табурет и скрещивал ноги: левую стопу на правую или правую — на левую. В зависимости от того, на каком носке больше была к тому времени дыра.

Митя всегда заметно торопился сделать все побыстрей: человек ведь ждет, ведь сидит — по причине жалкого состояния носков — почти босиком. Торопился, но никогда при этом не халтурил.

Может, для того, чтобы как-то занять меня да еще и дух поддержать, а может, потому, что скучно было все-таки день-деньской сидеть в этой маленькой комнатенке, за стенами которой кипела такая бурная и такая причудливая жизнь, он начинал со смешком расспрашивать:

— Вот ты везде ходишь. А правда, скажи, что два тракториста поспорили, чей бульдозер сильнее, задом их поставили, тросом прицепились и потом давай в разные стороны... Тянули-тянули, пока один напололам не разорвали?

— Ну, не напололам, — заявлял я авторитетно. — Крюк вырвали и еще там кое-что...

— Ну, все-таки подразорили маленько?

— Маленько — да.

Митя низко склонялся над башмаком, и плечи у него долго тряслись, а, когда он поднимал голову, в глазах у него стояли слезы:

— Во мастера, а? И сюда его, бульдозер, не принесешь, чтобы сразу его — раз, и починил. Это ж сколько время, сколько сил убить!

Я соглашался:

— В том-то и дело.

— А у них что, у трактористов, бригада? — спрашивал Митя. — А они не пробовали: бригада на бригаду?.. Как у них — ума хватит? Или вот в автобазе, например: колонна на колонну, какая сильнее? Они не пробовали?

— Да вроде нет пока.

— А ты подскажи.

И Митя опять ненадолго склонялся над башмаком совсем низко, и плечи его снова мелко тряслись.

Но оставался еще второй башмак, и Митя начинал снова:

— А правда, что Бенюх, этот старый прораб, карты у комсомольцев отобрал, сложил в колоду и зараз ее перервал? Колоду целиком?

Такая легенда ходила по стройке, было, я и сам тогда удивлялся: конечно, он еще крепкий дядька, Иван Яковлевич, еще хоть куда, и лапа у него такая, что будьте здоровы, но все же как это, в самом деле, — враз все «тридцать шесть карт, четыре масти»?

— Тут, наверное, какой-то секрет, Митя.

— Дак вот и я думаю... А может, он их все-таки — веером?

После, уже через какое-то время, я при случае спросил у Ивана Яковлевича: а правда ли?

А он так ответил: «Да что ж тут особенного? Я их уже лет сорок рву. Как увижу где — так и рву».

Выходит, дело в тренировке. Ничего не попишешь, как говорится: старая школа. Один из самых первых строителей в городе. Еще кузнецкстроевец.

Потом нас в редакции стало больше, и я одного за другим приводил к Мите новых наших сотрудников, которые тут же, буквально на первой-второй неделе, разбивали любую, какая только ни была у них, обувь, — это надо знать, сколько самых неожиданных перегрузок наши башмаки тогда выдерживали.

И все наши ребята тут же влюблялись в Митю, и рассказывали о нем один другому легенды, и хвастали ловкими швами или еле заметными заплатами.

Мы его так и звали между собой: наш друг Митя.

Как-то однажды в редакции Роберт Кесслер, этот ростовский меланхолик, сказал мечтательно: «Старички, видел сейчас в канаве законные штiblеты. Только их наполовину илом занесло. Может, отмыть да и отдать нашему Мите?.. Для интереса. Сможет он привести их в божеский вид? Или он тоже — не господь бог?»

А у нас были некоторые основания предполагать, что движет Робертом не только желание проверить уровень мастерства нашего друга, и Толя Ябров, заранее надувая щеки, спросил: «Роб, а Роб?.. Ну, а размер-то хоть твой?»

«Вот я ж и говорю, — так же меланхолично, втяжку, как всегда, сказал Кесслер. И посмотрел на меня. — Я чисто в интересах дела, шеф. На что ради дела не пойдешь. А другого выхода у меня нет: ты ведь посылаешь меня куда попало, а выдать резиновые сапоги и зеленый плащ, эту голубую мечту мою, тебе только обещают, а ты им веришь... Ты не считаешь, шеф, что ты у нас — слишком доверчивый?»

Надо знать Антоновскую площадку шестьдесят первого года, чтобы в полной мере представить, какие «штiblеты» могли тогда выбросить в канаву.

Но самое любопытное, что в этих самых легендарных теперь штiblетах Роберт проходил с год, а то и чуточку дольше. До тех пор, пока в административно-хозяйственном отделе треста — в АХО — всем нам и в самом деле не выдали резиновые сапоги и зеле-

ный прорабский плащ — голубую мечту Роберта Кесслера.

Как раз в это время мы решили придумать для нашей газеты нового сатирического героя, и, когда посреди всеобщего трепя, из которого, как мы полагали, и должен был этот самый герой родиться, я вдруг впервые произнес: «Митя Подковыркин», это было встречено поистине с восторгом.

А в самом деле: вы думали, сапожник Митя восемь часов подряд просиживает на своем низком, с просевшими поперечными ремнями стульчике в маленькой прокуренной комнатухе и, отгороженный от всего мира, то тянет дратву, а то стучит по каблuku вашего надетого на стальную «лапу» ботинка — и это все?! Эге!..

В крепких, сшитых им самим башмаках, он, Митя, и днем и ночью идет по стройке, и нет на ней уголка... нет на ней уголка... Может, помните?

«Надев перевязь и не боясь ни зноя, ни стужи, ни града, весел и смел, шел рыцарь и пел в поисках Эльдорадо. Но вот уж видна на висках-седина, сердце песне больше не радо,— хоть земля велика, нет на ней уголка, похожего на Эльдорадо!»

В ту пору это были любимые мои стихи, к месту и не к месту произносил их, как молитву, бубнил, как заклинанье, и потом их невольно запомнили и Роберт, и Толя, и те, кто пришел в редакцию после них, с кем вместе мы и тосковали и радовались — больше, конечно, радовались, чем тосковали, ведь мы тогда и не знали толком, что это такое — настоящая тоска, в нее мы тогда, не сознавая того, играли, и строчку из этих стихов я вставил однажды в телеграмму, которую хотел послать одной молодой московской особе, с ней был у меня роман, только на почте в Новокузнецке такую телеграмму не приняли: может, заподозрили в ней шифровку, а может, решили, что своим утверждением об отсутствии Эльдорадо на просторах Сибири, где, как известно, есть все, чего душа твоя пожелает, я порочу нашу действительность.

А это и точно была игра, были остатки первопродческого позерства, с которыми еще только предстояло расстаться, а на самом-то деле мы тогда просто и свято были убеждены, что такая земля есть, что мы ее уже обрели, и мы не задумываясь давали ее адрес то, бывало, грустившим в другой стороне своим друзьям, а то незнакомым ткачихам из Коврова: Кемеровская область, город Новокузнецк, Антоновская площадка. Приезжайте!

...И вот на ней, на этой нашей площадке, нет уголка, куда бы не дотопал в крепких, сшитых им самим башмаках наш друг Митя, нет уголка, куда бы он не заглянул, и нет вокруг дел, которые не касались бы его лично,— только так!

Сколько потом фельетонов за подписью Мити Подковыркина сочинил я сам! Сколько их написали в ту пору мои товарищи! Сколько получил наш Митя писем с просьбой о немедленной помощи и после уже других — с благодарностью за дружескую поддержку.

И со всеми он был строг, но, конечно, справедлив, и со всеми был на короткой ноге — начиная с подручного у каменщиков и заканчивая самим Дедом — ди-

ректором завода Климасенко, и все его уважали, а когда наш главный строитель Иван Михайлович Звездов на одном из рапортов, желая осадить сказавшего нелицеприятную шутку субподрядчика, грохнул кулаком по столешнице и громко сказал: «А тебе, если под Митю будешь работать, я ноги из одного места выдерну!» — это было уже как признание заслуг и высокая награда...

Странно, думаю я теперь, странно!..

Прошло уже больше двух десятков лет, столько всего на белом свете переменялось, а Митя Подковыркин все живет себе, все живет... На кого-то другого запросто показывают теперь пальцем в бригаде у монтажников и глазами — на заседании партийного штаба. Там есть сейчас в редакции несколько молодых ребят, они тоже рассказы печатают и тоже сочиняют стихи. Но не в этом дело, кто теперь пишет за Подковыркина. Главное — что он жив!

А я ведь каждый раз, когда разворачиваю свою родную газету, когда вижу эту такую знакомую мордашу с удивленно вскинутыми бровями и кустиком волос на макушке, я ведь первым делом несколько раз повторяю про себя: Митя. Митя. МИТЯ!..

И каждый раз словно несколько мгновений постою на высоком крутом обрыве...

Как же так, думаю: этот в общем-то плод воображения и родился раньше, и уже на столько лет пережил живого теплого мальчика, моего сына Митю.

Они ведь для меня связаны один с другим, вот в чем дело.

Не хочу сказать, что назвал своего младшего сына в честь знакомого сапожника с новостройки, нет — имя я дал ему в память героя Куликова поля, князя Донского.

Но то — Дмитрий.

А на уменьшительном, на ласковом, на домашнем конечно же всегда лежал отсвет той доброты и той человечности, которыми одаривал нас, совсем тогда молодых, тот неунывающий сапожник и которые мы пытались потом вдохнуть в нашего газетного Митю — и балагура, и шутника, и заступника Подковыркина.

Я ведь это всегда знал: так было. Недаром же в этом времени явном, а временами скрытом, но таком упорном сражении всей нашей родни за то, как мальчика называть — Дима или Митя,— моя взяла, хоть я был поначалу в полном одиночестве: все-таки — Митя.

И с тайным упорством, которое вызывалось нередкими мыслями о том, что со мною вдруг может что-то случиться и мальчик потом будет тщетно пытаться припомнить, каким был его отец, что хотел завещать ему, я, бывало, ему говорил: «Запомни, Митюш: главное для мужчины — это крепкие башмаки!»

Веривший мне бесконечно, он словно пытался запомнить: «Крепкие-прекрепкие?»

Конечно же с некоторым наигрышем, без которого невозможно общение с крохой, я внушал ему: «Да!.. Крепкие-прекрепкие. Только так».

А может, это во мне говорила вовсе не новостройка?.. А говорило еще старое-старое? Еще казачье?..

Однажды я пришел за ним в детский сад уже

здесь, в Москве, на Соломенной Сторожке, подождал, пока он соберется и попросается с воспитательницей и с теми, кто еще оставался, а потом взял его за руку, и по короткому переулку мы пошли к автобусу.

Стоял ясный день ранней осени, с кленов падали большие рыжие листья... Наверное, настроение у нас у обоих было, что ли, особенное — недаром же я так хорошо все это запомнил. И то, как мягко, но крепенько сжимал его ладошку, и как весело, вприпрыжку, попевал он со мною рядом.

Нас тогда было двое, но мы тогда были — словно один.

И перед нами остановился шедший навстречу человек лет пятидесяти и с каким-то странным тогда для меня теплом в голосе, глядя на нас, сказал громко: «Эх, хорошо папке с сыночком, а сынку с папкой, эх!..»

И вдруг он поморщился, как от боли, всхлипнул и пошел, давясь глухими слезами, дальше, и я только оглянулся вслед этому странному человеку, которого я вспомнил уже потом, когда Мити не стало, и вспоминаю теперь часто, потому что сам я, когда вижу счастливых отца с маленьким мальчиком и порываюсь сказать им что-либо примерно такое же, и тут же отвожу глаза, чтобы все-таки не сказать да вдруг не зажмуриться от боли.

А тогда мы с ним шли к автобусу по желтой от опадающих листьев Соломенной Сторожке, на углу купили мороженое и стояли потом на остановке, ждали, пока Митя его дост.

Вообще-то из-за астмы ему нельзя было мороженого, мы покупали его лишь иногда, и то с непременно уговором, что есть он будет не торопясь — «аккуратненько», как всегда приговаривала жена, когда была в это время рядом. А мороженое он, конечно, очень любил, хотел, чтобы покупали, и надо было видеть, какими маленькими кусочками, как осторожно он от него откусывал, как и торопливо и бережно слизывал каждую готовую скатиться сбоку сладкую капельку, но никогда он при этом не увлекался настолько, чтобы благодарно и понимающе в это время не подмигнуть или весело не прищуриться — мол, вы же видите, что я ну все-превсе понимаю?.. И он словно считал своим долгом в это время поддерживать разговор и был, как никогда, словоохотлив.

Не помню, с чего у нас тогда началось, скорее всего, с его новых туфелек, но уже в который раз, с усмешкою глядя на то, как он по-беличьи быстренько и ловко грызет мороженое, я ему опять сказал: «Это так, это главное для мужчины — крепкие башмаки».

Он оторвался от мороженого, которое держал обеими руками, и тоже по-беличьи стрельнул глазками: «А еще?»

«А еще — просторный рюкзак, — сказал я, — или в крайнем случае — чемодан».

Он снова оторвался: «А еще знаешь что?»

«А ну-ка, что еще?»

«А еще — веселая жена», — сказал он.

Этого я не ожидал и потому, пытаясь оставаться серьезным, спросил: «А почему это, любопытно, еще — и веселая жена?»

«А чтобы она никогда-никогда не огорчала!»

Вот в чем было дело!

При нем мы с женою ни разу не поссорились, да и вообще жили ладно, но, бывало, чтобы сохранить дружелюбие или перевести все в шутку, я ей с нарочитой серьезностью говорил: «Ты меня, мама, огорчаешь!»

Оказывается, для него, выращавшего в атмосфере всеобщей любви, а может, еще и жалости, вызванной его нездоровьем, оказывается, для него даже эти мои шутливые упреки казались чем-то очень серьезным.

«Так, может, у тебя уже кто-то есть на примете?» — спросил я.

Он живо оторвался от мороженого: «Я тебе и говорю!.. Ты же видел, она мне еще помахала рукой!»

И вот — ни крепких башмаков, ни просторного рюкзака. И никогда у него не будет веселой жены.

Под студеным ветром зимой раскачивается над перекрестком и морозно скрипит на проволоке уже потом. повешенный знак: бегущие с портфелями школьница и школьник.

До этого и подумать не мог, что жестяные эти знаки — памятники еще совсем недавно на одной ножке скакавшим по белу свету беззаботным мальчишкам или не дожившим до свадьбы их веселым невестам.

Конечно, это одна из многочисленных иллюзий, которые часто поддерживают нас куда прочнее, чем что-либо сугубо реальное, только мне кажется все время, будто светлый дух мальчика продолжает обитать, как это ни покажется странным, в этом шутнике и заступнике Подковыркине, в этом неунывающем скоморохе с далекой Антоновской площадки. Ведь коротенькая жизнь Мити была продолжением, была как бы отросточком той моей давней сибирской жизни на счастливой и вольной земле Эльдорадо, где вместе со мною жили тогда и добрый, бесконечной работой прикованный к своему продавленному табурету уже немолодой сапожник, и только-только родившийся в нашей маленькой редакции его вездесущий тезка, неугомный Подковыркин.

Если это не так, то куда же, скажите мне, мальчик мог возвратиться?

Или просто в сердце одно с другим все переплелось, как переплетаются в земле корни трав?.. Или память, неустанным челноком снующая среди нитей разрозненных воспоминаний в поисках прочной основы бытия, так причудливо тклет тебе его сегодняшний смысл?.. Ведь чем дальше, тем убежденней мальчика своего ты числишь живущим, только ролями с ним вы теперь поменялись: это он нынче держит в невесомой руке тяжелую твою ладонь. Ведет он.

А ровесников своих, с которыми когда-то начинал самостоятельную жизнь, о которых ты размышляешь, может быть, больше, чем некоторые из них сами о себе, ты все чаще ощущаешь словно своими детьми и удачам преуспевших, как водится, радуешься меньше, чем горюешь по неудачникам и заблудшим: будь к ним поласковее, судьба! Утоли их печали и верный путь укажи. Дай им силы дойти.

Но может быть, думаю я теперь, Эльдорадо — это вовсе и не земля? Может быть, это — такая пора, может быть, это — просто счастливое время, свое особое

для всяк живущего?.. И нам лишь кажется, что мы все ищем, что приближаемся, вот-вот коснемся, вот-вот достигнем? А в самом деле мы уходим — дальше, дальше...

От нераздельного когда-то, такого, что толчки крови в другом, казалось, чувствовал, верного и веселого братства — в одинокое и печальное рыцарство.

И уже притомились ноги. Дорога осточертела. Душа изранена.

Ржавеет в ножнах на боку бесполезная шпага.

Да и тверда ли по-прежнему рука?

Или не так? Нет?!

Ведь до сих пор не позабыто, что у Эдгара По в стихах дальше: «Устал он идти, но раз на пути увидел тень странника рядом. И решился спросить: «Где может быть чудесный край Эльдорадо?» — «Ночью и днем, Млечным Путем, за кущи райского сада держи свой путь, но и стоек будь, если ищешь ты Эльдорадо!»

Только теперь это куда серьезнее. И куда больней.

И все же: ночью и днем. Ночью и днем.

Ночью.

И днем.

Ему ведь нельзя было много бегать, из-за астмы он начинал задыхаться, но ему как воздух нужны были прогулки, и сколько мы с ним ходили — и зимою, и летом, при любой погоде!

И он успел полюбить крепкие башмаки — на всю жизнь.

## СТО ШАГОВ

Поздним вечером закрывший почти все вокруг осенний обложной дождь безмолвно висит над стылыми сопками, и тайга от этого кажется бескрайней, и бескрайнею кажется затопившая мир глухая темь.

Только крошечный огонек слабо мерцает среди черных ветвей где-то вдалеке...

Еще один огонек. И еще. Еще несколько... Гроздь огней.

На вершине пологой сопки густые кроны вековых сосен прошиты ярким электрическим светом, тонкая сетка дождя серебрится под фонарем над рыжим, подрагивающим от капель березняком.

Доверчиво глядят в ночь теплые окна двухэтажных корпусов, которые прячутся в гуще мокрых деревьев.

Это дом отдыха металлургов.

А на окраине его темнеют несколько одноэтажных коттеджей с редкими огнями за разноцветными шторами, и одно из таких окошек кажется особенно уютным.

За ним в хорошо обставленной комнате, на первый взгляд, и в самом деле царят покой и умиротворение.

Здесь, видимо, только что закончили пить чай, и пожилая хозяйка дома Эмма Борисовна Веденина с краем полотенца на плече задумчиво перетирает чашки. Сам Николай Фадеевич Веденин, директор большого металлургического завода, удобно обложенный подушками и укрытый пледом, лежит на просторном диване, а рядом с толстою книжкой на коленях сидит

под торшером его шестилетний внук Максим. В низком кресле возле ярко пылающего камина расположилась с вязаньем тридцатилетняя дочь Ведениных Зоя.

Она оборачивается к Максиму:

— Ну, что, дружок, передохнул?

Сын кивает ей.

— Тогда читай дальше. Дедушка слушает.

И мальчик старательно начинает — громко и чуть-чуть нараспев: «Так прошло лето и наступила холодная осень... И когда старый сэр Томас окончательно решил, что он умирает, он велел посадить себя...»

Глухо стукнула о стол чашка в руках у Ведениной. Шагнула к внуку, выдернула из его рук книжку.

— Тебе давно пора спать!

— А зачем я тогда передыхал? — спросил он удивленно.

— Зоя, уложи Максима! — приказывает Веденина, подталкивая к ней мальчика.

— В такую рань?!

— Я сказала, укладывай.

— Эмма!.. — с укором говорит Веденин слабым голосом, и теперь вдруг видно, как он уже стар и как изможден болезнью.

И потому, как нервно переглянулись женщины, как быстро выпроводила Веденина дочку с сыном в другую комнату, становится ясно, что покоя здесь нет уже давно...

Деловито поправила плед под горлом у мужа. Погас торшер. В другой комнате, едва за нею захлопнулась дверь, горячо зашептала Зоя:

— Не могла найти что-либо повеселей?!

— Но он сам это попросил!

— Мало ли чего он попросит?.. У тебя своя голова. И она у тебя для того, чтобы...

— Но ты его лишаешь последних радостей... воли, наконец! А что для него всегда была его воля?

— Опять?!

— Хорошо, мама, успокойся... хорошо.

Возмущенная Веденина молча приподнимает плечи.

Зоя уложила сына, держит руку у него под щекой.

— А почему бабушка на нас с тобой опять рассердилась?.. Что мы такого сделали?

— Ничего мы не сделали. Просто бабушка очень устала.

— Потому что сильно болеет деда?

— Ты же это знаешь, да... ты у меня уже большой.

— А он скоро перестанет болеть?

И в это время за дверью раздается звон разбитого стекла, громко слышится яростный голос Веденина:

— Хвати-ит!..

Почти одновременно открывают одну и другую дверь в его комнату жена и дочь.

Снова горит торшер. Приподнявшийся на диване Веденин запутанной в шторе тростью тычет в разбитое окно, пытается вышибить застрявшие осколки.

— Запрятали!.. Закупорили! Как волка обложили! — кричит Веденин. — Еще флажки забыли вокруг дачи повесить!

— Коленька! — бросается к нему жена.

Веденин снимает трубку телефона, стучит по рычажкам, но телефон молчит, и он швыряет трубку.

— Коленька! — умоляет Эмма Борисовна.

— Я уже почти семьдесят Коленька!.. Доктор где? Виктор Карлович!.. Где Райх? На улицу хочу! Воздухом дышать!.. Райха позови!.. А ты одеться помоги! Ну, что как истуканы, ну?!

Подбежал Максим в пижаме и босиком, прильнул к деду:

— Меня возьмешь?

— Никуда не пойдешь, Максим! — кричит Веденина.

— Собирайся! — приказывает дед. — Ты мне нужен! Вместе пойдем!..

И вот уже к общей суете присоединились Райх, высокий худой старик, и симпатичная медсестра в белом халате — судя по всему, они были рядом — где-то в соседней комнате или, может, в соседнем коттедже, — и вот Веденин уже одет, уже стоит, опираясь на трость, шагнул за порог... Зоя затягивает шарф на шею у Максима, подталкивает его к деду.

— Может, и мне с вами? — умоляет сломленная бунтом мужа Эмма Борисовна. — Коленька, может, и мне?

— Не-ет! — говорит он безжалостно. — Своя компания.

Под большим черным зонтом, который несет Райх, медленно идут они по аллее среди мокрых, с редкими фонарями деревьев. Старый врач поддерживает под руку Веденина. Веденин сжимает руку мальчика.

Мальчик снизу пытается заглянуть деду в глаза:

— Зачем я тебе нужен, деда?!

— Ты мне внук! — говорит Веденин, словно сообщает тайну.

Мальчик отзывается радостно:

— А-а! — и дергает деда за руку. — Позвать ее?

— Позови!

Мальчик умело свистит в два пальца, и где-то вдалеке слышится в ответ лошадиное ржанье.

— А вдруг ворота закрыты? — сомневается Райх.

— Она перепрыгнет! — уверенно говорит Максим.

Среди деревьев появляется лошадь, красивой рысью несется по аллее, с тихим, явно благодарным ржаньем делает возле них один и другой круг, пристраивается позади Максима, тянется губами к карману пальто, в котором уже шарит мальчик.

Веденин вдруг вдохновляется:

— Вот, Виктор Карлович!.. Во-от!.. — и показывает на лошадь. — Почему я без длинных разговоров отдал за нее две свои зарплаты? Скажи — почему?! Мы с Максимом договорились в цирк, но я опоздал, наши места уже заняли, и нас тогда провели в первый ряд, оттуда совсем близко... И тут я увидел, какая у нее в глазах была тоска, когда она кланялась... Ей кланяться надоело, понимаешь?! Потому что ее дело — воз тащить! Жеребят поить молоком! Пахать!.. А она всю жизнь только кланялась, кланялась!..

Лошадь, которой Максим уже успел сунуть сухарик, заученно выставляет переднюю ногу, опускает над ней шею с вытянутой вперед головой, и заметивший это Веденин кричит ей с укором:

— Перестань!..

— Но тут уже свои отношения, — миролюбиво говорит Райх.

— Но мы, Райх!.. Мы! — торопится Веденин. — Которые никому не кланялись, а всю жизнь только работали! Имеем мы право дожить свои дни по-человечески?

— Логика, логика где? — спрашивает Райх.

— С твоей немецкой логикой! — отмахивается Веденин. — У меня своя логика. Попроще. Ты только скажи: сколько мне еще даешь? Сколько?! А, Райх?!

— Я не господь бог!

— Но ты его наместник на земле!

— На заводе, вы хотите сказать?

Они стоят у верхнего края сопки, отсюда даже сквозь серую густую пелену дождя хорошо видеть неутомимо помаргивающее вдалеке над заводом мощное зарево.

— На нашем заводе, Райх, — говорит Веденин. — Которому полжизни отдали и ты, и я!..

— Смотря как будете вести себя! — задумчиво говорит Райх. — Если как сегодня...

— Только так, да!

— Вы сделали выбор?

— Я его сделал еще полсотни лет назад, Райх!

— Но древние говорили, что каждый человек отличается от другого и с каждым прожитым днем отличается от себя самого.

— И пусть они отличаются! — словно радуется чему-то Веденин. — Пусть!

— Это вы о ком?

— А о тех, кто у нас давно уже отличается!.. Сам от себя. Слишком многие! Ты не считаешь, Райх?.. А мне важно остаться, каким был... дашь мне еще полгода, Райх?!

Райх молчит.

— Врешь! — убежденно говорит Веденин. — Это все докторские штучки... чтобы наш брат берегся. А мне плевать... только ты мне все же помоги, Райх! По старой дружбе.

Опираясь на руку доктора, упрямо идет к крайнему корпусу, поднимается по ступенькам, открывает дверь в комнату, где находится коммутатор. Молодая телефонистка невольно привстает у пульта.

— Отключила меня, дочка?!

— Я ведь не сама... так сказали.

— С секретарем моим соедини. Быстренько!

Она тут же протягивает ему трубку, и он приваливается плечом к боковой стенке пульта:

— Нина Павловна!.. Извини, что покоя не даю... Ступину скажи, чтобы завтра в двенадцать — у меня. Хоть камни с неба, да... Один. Один, да. Спокойной ночи тебе!.. Спокойной, Нина...

В уютной комнате, где тем заметнее следы одиночества, красивая, лет сорока, женщина отнимает трубку от уха, садится с нею в удобное креслице, смотрит на себя в зеркало, и радость на лице ее постепенно сменяется горечью...

Кабинет начальника доменного цеха Алексея Степановича Ступина. Мощный завод за окнами.

В кабинете продолжается совещание, но Ступин, глянув на часы, решительно встает из-за стола.

— Все! Остальное — без меня! — идя к двери, говорит на ходу. — Иначе мне не успеть!

— Людмила Ивановна! — обращается он в приемной к молоденькой секретарше. — Часа два-три тут покомандуйте.

— Где будете вы?

— Два-три часа! — со значением повторяет Ступин.

— Но я ваш секретарь, и я просто обязана...

— Меня Веденин ждет, — негромко говорит Ступин. — Но я просил бы...

Внизу он рывком открывает дверцу «Волги».

— В дом отдыха!..

Шофер перед этим или спал, или другим каким образом благодушествовал и пока еще не встряхнулся.

Вокруг, объятый великой общей работой, дышит, пульсирует, отдувается, вскрикивает гудками тепловозов громадный завод, но водитель явно не спешит войти в один ритм с ним. Проезжая мимо работающей старой доменной печи, неподалеку от которой стоит вторая, что только монтируется, кивком показывает на одну и на другую, неторопливо говорит:

— Когда, Алексей Степаныч, старушку эту погасим и пустим на слом?.. Когда на ее место эту новую красавицу надвинем?

Ступин говорит рассеянно, но именно потому и очень серьезно:

— Дорого бы я отдал, чтобы только угадать тот самый день, когда ее надо погасить!

— А если новая печка эти сто метров свои прошагает без приключений, будет нам, Алексей Степаныч, что-нибудь полагаться? — дружески спрашивает водитель — явно из тех, кто твердо убежден, что делит с начальством всю ответственность за дела в этом мире. — Как за мировой рекорд?

Вместо ответа спокойный обычно Ступин вдруг чуть не кричит:

— Что ты тянешься?! К Веденину опаздываем!

— К Деду?! — вскидывается водитель. — Так бы и сказали!

«Волга» прибавляет ходу, но дорогу ей перегораживает лихо затормозивший потрепанный «газик», причем становится он таким образом, чтобы поговорить могли пассажиры. Распахнулась дверь «газика», высунулся партизанского вида человек в брезентовом плаще, насмешливо крикнул Ступину:

— Ха-рош!.. Назначил свиданье, значит, Васильеву, а сам покотил к другой милашке?!

— Дед вызвал, извини! — сквозь шум двигателей кричал тоже приоткрывший дверцу машины Ступин.

И этот, в плаще, Васильев, сразу посерьезнел:

— Скажи, монтажники поклон шлют!.. Давай тогда!.. А у нас и так все ясно. Давай!.. — И уже почти вдогон снова закричал: — Поклон Деду не забудь!

В машине Ступин посмотрел на часы...

...Среди ночи его разбудил телефон. Звонили с первой домны;

— Алексей Степаныч, беда!.. На скипах трос лопнул. Тележку понесло юзом и заклинило. Примерно на середине подъемника... Тележка полная, да... Подача в печку шихты прекращена.

Он быстро оделся и сбежал вниз.

Вместе с мастером машинного отделения они поднялись к тележке. Ее уже облепили слесари-ремонтники, но держались все с верхней стороны, над тележкой: опасались, что в любую минуту она может стронуться и тогда покатится вниз.

Кто-то из слесарей сказал:

— Ну, шас приедет Дед, даст шороху!

— Зачем вызвали? — укорил мастера Ступин.

— На такие аварии обязаны: затянется ремонт — может быть, домну останавливать придется...

Первым делом Дед тоже поднялся по скипу. Молча заглядывал под тележку, трогал за чем-то мятые, местами порванные края направляющих. Ремонтники следили за каждым его движением, но стоило ему повернуть голову, как все прятали глаза и отворачивались: ждали грозы.

— Решение? — коротко спросил у Ступина Дед, когда они спустились вниз и стояли на площадке рядом с лебедками.

— По-моему, единственное: менять трос и тащить тележку только наверх.

— Приступайте, — негромко разрешил Дед. — И скажите, чтобы мне сюда стульчик принесли...

— Холодно вато, — забеспокоился Ступин. — Может, посидели бы в дежурке у мастера?

Дед глянул вверх, где бегущие под ветром заводские дымы качали на себе полную луну:

— Тут подышу.

И он сел на стул здесь, пониже натянул кепку, приподнял воротник пальто — маленький, сухонький, нахохленный, как воробей, — и в концах воротника спрятал подбородок.

Он сидел как раз под стотонной тележкой, которая, казалось тогда, в любой миг могла сорваться вниз, и ремонтники сперва только переглядывались, а потом часть из них тоже перебралась на нижнюю сторону, под тележку.

Они уже там, кажется, пообвыкли, когда где-то совсем рядом раздался громкий скрежет металла... Эх, как они кинулись врассыпную!

Дед даже не повернул головы.

И на место слесари возвращались с оглядкой на Деда и чуть ли не на цыпочках.

Дул резкий ветер, и часа через два Ступин со стыдом спохватился, подошел к Деду:

— Николай Фадееч, может, сказать, чтобы принесли чайку горяченького?

Он удивленно вскинулся:

— Некогда!

Слесари наверху уже заменили трос, уже запасовали его в кольцо тележки и повеселевшими головами подгоняли теперь друг друга:

— Поворачивайся давай!

— Слышал, что Дед сказал?..

— Некогда, говорит, ребята, чай распивать!..

А он все прятал подбородок в концы воротника и



тихонько покашливал — никто еще ничего не знал, но как тогда уже съедал ему легкие...

...Ступин поехал в машине, посмотрел на часы.

Многолюдно в итээрвской столовой завода. Здесь в основном женщины. Все хорошо одеты, все стараются, что называется, держаться, и потому особенно заметно, как они приглядываются друг к другу, как меж собою перешептываются.

За одним из столиков обедают Нина Павловна и другая женщина, лет на десяток моложе ее — из тех, в чьих лицах вы не найдете, может быть, ни одной правильной черты, но все вместе, вдохновенные бесконечной уверенностью обладательницы их в своем обаянии, они производят впечатление и в самом деле почти неотразимое. Это Варвара, секретарь исполняющего обязанности главного инженера завода Брагина.

К ним подходит со своим подносом секретарь Ступина Люда.

— Извините, не помешаю?

— О, какая деликатность и какое изящество манер! — играя голосом, говорит Варвара Нине Павловне и только потом оборачивается к Людмиле: — А может, мы закончили не курсы машинисток, а институт благородных девиц?

— Где ты тут его закончишь? — спрашивает Людмила серьезно. — Даже если очень хотела бы...

— Твой носорог сейчас чуть не сбил меня в коридоре, — говорит Варвара. — Это куда же и с каким порученьем ты его отослала?

— Поехал к Веденину.

— Так, девочки, — поручает Варвара, указывая на свой прибор на столе. — Попросите, чтобы не трогали!

Нина Павловна хочет что-то сказать, но Варвара уже убежала, и секретарша Веденина только грустно глядит на неопытную Людмилу.

В кабинет исполняющего обязанности главного инженера завода Брагина Варвара влетает, когда тот разговаривает там с Зоей Ведениной — и, судя по всему, о делах далеко не служебных. Тем решительнее Варвара:

— Прошу простить за вторжение, но Ступин только что уехал к Веденину!

Всегда стремительный Брагин хищно оборачивается к Зое, и та с невольной виной произносит:

— Я не в курсе...

Брагин выхватывает из шкафчика плащ и мимо обеих женщин молча бросается к двери.

А Варвара еще несколько мгновений смотрит на Зою, и в откровенном ее взгляде можно ясно прочесть: ну вот, милочка, хоть ты и директорская дочка, а тещу-то Брагина я!..

Брагин, на ходу надевая плащ, еще бежит к стоянке машин, а «Волга» его уже устремилась ему навстречу, уже открывается передняя дверца, и впечатлительное такое, будто исполняющий обязанности главного инженера садится в нее на ходу... Ясно, что это —

школа!.. Только вот чья: школа Веденина?.. Или это уже его собственная — Брагина?

Хватает за плечо водителя:

— Ступин поехал к Деду. На дачу. Догнать надо. И «Волга» тут же прибавляет скорости так, словно они участвуют в гонках.

Глядя через окно на завод, еле заметно усмехается Брагин, тихонько качает головой и только тут убирает руку с плеча водителя...

...И Веденин, и он, новоиспеченный главный сталеплавильщик Брагин, и только что сменивший его на посту начальника конверторного цеха Полосухин, и еще несколько спецов-сталеплавильщиков стояли среди стеклянного скворечника дистрибуторской будки, откуда хорошо было видно внизу рабочую площадку с единственной светившейся раскаленной горловиной стальной «грушей» — остальные были черны.

— Третьи сутки простаивают два конвертора, и вот-вот придется останавливать третий, — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, начал Дед.

И, словно в подтверждение его слов, высоко вверх взметнулся длинный язык пламени, в цехе полыхнуло, и почти тут же раздался заметно тряхнувший будку тугой хлесткий взрыв.

Невольно сжался за пультом дистрибуторщик, рядом с которым они стояли.

— Третьи сутки продолжают эти взрывы, которые вы тут... прямо-таки с нежностью на устах!.. пытаетесь мне выдать за хлопки.

Еще выше взвилось пламя, еще сильнее грохнуло.

— Хлопочек! — презрительно сказал Дед. — Мне стыдно, что я тоже сталеплавильщик и что я с вами — в одной компании... Даю вам еще час. Если за это время причина не будет выяснена, я диктую приказ о служебном несоответствии основных специалистов по стали. О вашем. Вашем. И вашем.

Он достал свои карманные, с цепочкой, часы, положил на чертежи газохода, которые лежали на краю пульта, рядом с молодым оператором, и часы затикали сначала почти неслышно, а потом все громче и громче.

Стояли опустив головы. Брагин подошел к столу, наставил палец на чертежи:

— Остается, Николай Фадеич, последнее: этот шпатель упал и переместился сюда, закрыл отверстие.

— Начальник цеха! — позвал Дед Полосухина и тоже ткнул в чертеж сухоньким своим пальцем: — Срочно простучать газоход.

В промежутках между взрывами опять, набирая громкости, тикали на пульте большие карманные часы.

Потом вошли начальник цеха и бригадир слесарей.

— В газоходе металлический лист размером...

И Полосухин посмотрел на бригадира. Тот, словно все еще к чему-то прислушиваясь, показал руками: примерно такой, мол.

— Соедините с начальником отдела труда и заработной платы, — приказал Дед и, когда Полосухин подал ему трубку, проговорил: — Веденин. Главному сталепла-

вильщику Брагину премия размером в три оклада. Выпишите немедленно. Приказ чуть позже.

И все зашумели, стали Брагина поздравлять, обстановку совсем уже разрядилась, когда Дед, пристукнув ладошкой по чертежам, громко сказал в нос:

— Потерять столько стали!.. Это какая роскошь?! Где ты, Юрий Петрович, был трое суток назад? Почему сразу не сообразил? Нельзя же так угрюмо долго и так беспросветно лениво думать!..

На этот раз номер он набрал сам:

— Веденин. С премией для Брагина я поторопился. Приказа не будет. Не за что. — Все смолкли. Дед положил трубку. Сказал в тишине:

— Назначим комиссию, чтобы в причинах разобраться. И пусть только кто попробует вместо истинного виновника подsunуть мне стрелочника... пусть!

...Снова Брагин кладет руку на плечо водителя, и тот снова тут же прибавляет скорость.

Ох эти столовские шницели — тем более когда они уж остынут!.. Глаза бы на них не смотрели.

Но сейчас Варвара, которая доедает свой обед, удовольствие получает не от еды, а от возможности повоспитывать ученую тюху — ступинскую Людку!

— Со своей научной организацией труда, о которой ты слышала на твоих знаменитых курсах и от которой у нас уши болят, тебе пора бы уже и заткнуться — не ощущаешь? — внушает Варвара. — И не делай, золоток, вид, что ты заботишься только о передвижке домны и тебя совершенно не волнует, куда при этом передвинут твоего шефа!..

Варвара глядит на Нину Павловну, которой этот разговор конечно же малоприятен, с понимающим видом накрывает ее ладонь своею:

— Ты меня извини, Нина! Но что теперь?..

Нина Павловна не то вздыхает, не то усмехается, и непонятно, над кем эта горькая усмешка: над этими девчонками?.. Над собою?

Все-таки это им, ничего еще в жизни толком не узнавшим и ничего не понявшим, предназначена эта усмешка Нины Павловны, вместе с Ведениным прошедшей огонь и воду.

Сомкнув перед грудью пальцы, на секунду задумавшись, стоит она перед дверью исполняющего обязанности директора завода Перчаткина — перед бывшей дверью Веденина. Теперь, когда к Веденину поехал и Брагин, ей ничего не остается, как сказать об этом Перчаткину.

В кабинете у Перчаткина сидит секретарь парткома Беловой, человек, которому под шестьдесят, многолетний соратник Веденина, и Нина Павловна невольно обращается больше к нему:

— Прошу извинить, мне стало известно, что Николай Фаденч пожелал увидеть Ступина... Но вслед за ним на дачу к нему поехал потом и Брагин...

— А исполняющий обязанности директора, как всегда, узнает об этом последний?! — горько говорит Перчаткин, тоже глядя на Белового. — И секретарь парткома тоже... — И он не удерживается, чтобы не укорить: — Как же так, Нина Павловна?..

Звонит один из многочисленных телефонных аппаратов рядом с директорским столом, и Перчаткин снимает трубку и сперва прикрывает ладонью нижний ее конец.

— Заместитель министра!.. Одну минуту. — Только потом начинает говорить с Москвою. — Да, Иван Дмитриевич... да. Хорошо. Да... Как полагается, встретим. Хорошо, Иван Дмитриевич. — Кладет трубку и говорит Беловому: «К нам летит Полосухин».

И Беловой не может сдержать удивления:

— Полосухин?!

Каменеет лицо у Нины Павловны.

— Проверка... по поводу передвижки. Такие дела. Перчаткин взял со стола небольшую папку из черной кожи, и по тому, как он держал ее, можно было понять, насколько дорого ему то, что в ней заключено.

— План реконструкции завода! Который он начал!.. Комплексный. Может, все-таки показать ему?!

Беловой плечами пожал:

— Знать бы, как себя чувствует...

— А то Эмма Борисовна упрячет под сукно, — грустно улыбнулся Перчаткин и положил папку на стол.

И вот они уже за территорией завода, давно уже мчатся через тайгу, но разговор в машине идет все об одном и том же:

— Ну и что ж, что Полосухин? — явно утешает Перчаткина Беловой. — Ну и что ж — прилетает?! Подумаешь, персона!.. Ну и пусть.

— А я вам снова говорю: при Николае Фаденче он не посмел бы прилететь! — горячится Перчаткин.

— Ну, не посмел бы, — соглашается Беловой. — А теперь прилетает. Ну и что?

Перчаткин сжимает руку у себя на горле:

— А то, что двусмысленность моего положения временами меня — вот так!

— Ну, милый мой!.. Через это просто необходимо пройти. Не ты это придумал. И никто другой. Такая штука — болезнь. Она не спрашивает...

— Так-то оно так, — задумчиво соглашается Перчаткин. И отворачивается к окошку. — Так-то так...

...Уже закончилось долгое совещание в кабинете у Веденина, все дружно встали, и тут Веденин сказал:

— Сегодня уже маленько поздновато, а завтра в семь сорок пять жду всех около стана «четыреста пятьдесят». На той стороне, где у Перчаткина склад готовой продукции.

К назначенному времени съезжались к стану легковые машины, останавливались у громадного болота, по краю которого пробирались в цех люди — кто шел на пяточках, кто поднимал штанины засунутыми в карманы руками. Веденин стоял, поглядывал.

— Ну что, товарищи руководители завода? — спросил потом. — Все тут? Прошу за мной.

И он, в легких ботиночках, пошел по этому, будь оно проклято, болоту, которое осталось еще со времен стройки, а все запереглядывались — что, мол, наш Дед — совсем? — затоптались на месте, а потом сделали шаг в воду — один, другой, третий...

Когда они стояли вокруг него посреди болота, по-

чти по колено в воде, он громко, чуть в нос, как всегда, сказал:

— Скажи, Александр Максимыч, зачем ты из меня Христа хочешь сделать, а из них апостолов?.. Видишь, что не можем по воде ходить?!

Повернулся и пошел к машине. Уехал первый, а они еще стояли, отряхивались, поругивали беззлобно Перчаткина. Кто-то за всех сделал вывод:

— Значит, други, с грязью надо заканчивать!

Тут-то и подошел к Перчаткину Брагин:

— Нет, ты видел? Оцени, а?!

И показал на свои резиновые сапоги.

— Повезло тебе,— вздохнул Перчаткин.

— Что значит, повезло? — смеялся Брагин. — Я просто догадался! И Полосухина вон предупредил: во-первых, чтобы у меня был свидетель, что я и в самом деле такой догадливый, а во-вторых, я просто пожалел его: слышал небось, какой начет Дед ему преподнес за простой на конверторном?! Когда он теперь себе новые штаны купит?

И к Перчаткину подошел этот кудрявый богатырь, этот никогда не унывающий Полосухин, обаяния котрого с лихвою хватило бы на пятерых, сжал локоть своею крупной пятерней:

— Не обижайся, дружище!

Нет, вовсе не то, что и он был в сапогах,— именно это его неиссякаемое обаяние почему-то и взбесило тогда обычно уравновешенного Перчаткина.

Бросил к Брагину руки, словно хотел схватить его за грудки:

— Но мне-то ты почему не сказал?

— А зачем?.. Ты бы за ночь засыпал ямку, и все дела, а мне, во-первых, очень хотелось свою догадку проверить, а во-вторых, это надо же совсем не любить Деда, чтобы лишить его удовольствия превратить свой генералитет в скопище мокрых куриц!

А этот обаяшка Полосухин задушевно произнес:

— Не осуждай, дружище! Не осуждай!..

Машина, в которой ехал Перчаткин с Беловым, приткнулась к коттеджу Веденина рядом с двумя другими, стоящими у подъезда, и вот мимо Эммы Борисовны, которая молчит и только в крайнем осуждении качает головой, мимо медсестры со шприцем в руке, которая попадает на встречу, они торопливо проходят в комнату, где в кресле у камина сидит раскатывающий после укола рукав рубашки директор — рубаха на нем белая, галстук, черные брюки...

Со Ступиним и Брагиним рядом пристраивается Перчаткин, чуть поодаль от них троих, сидящих теперь как школьники, располагается Беловой.

— Итак, подведем черту! — громко, без лишних слов продолжает Веденин. — Остановим старую печку, и завод тут же начнет работать только на семьдесят процентов обычной мощности... На семьдесят! И сколько это потом продлится, будет зависеть не только от строителей, нет,— у них на монтаж новой печки — нормы!.. А зависеть будет от доменщиков, от вас: не сумеете весь до капли чугун выпустить, оставите в старой печке хорошенького «козла», и придет-

ся потом и взрывать его, и вручную колупаться, и разбирать старую печь на месяц, на два дольше, чем собирались... Вот во что дело упирается! Когда ее гасить?! На днях прилетит кто-либо из министерства и будет вам руки выворачивать и добиваться, чтобы никакого запаса вы себе на случай «козла», на промах-то на свой, не оставили... А вы к этому разговору не готовы! Так или не так?! Ну?! — Веденин нацеливает палец на Ступина. — Твой крайний срок, когда печку погасить?!

— Я уже говорил,— оправдывается Ступин.

— Ты не говорил — ты мямлил! — и Веденин переводит палец на Брагина. — Главный инженер,— твой срок?! Может, ты поправишь Ступина?.. Или нет?! Как, директор?! У директора есть свой срок?.. Или ты начальнику цеха целиком доверился?.. Верить ты ему или нет?! А ты ему?! А ты — им обоим?! Тогда кто мне ответит вразумительно? Ты?! Ты?! Ты?!

На каждого из них смотрит Веденин так, словно сейчас же, немедленно должен выбрать наследника главного дела своей жизни, а выбирать-то, выходит, пока и не из кого. И он кричит гневно:

— Как жить-то дальше собираетесь?!

Закашлялся, его затрясло, и тут же в раскрытых дверях боковой комнаты показался Райх:

— Все, уважаемые товарищи,— я не прошу, я требую: все!

И появилась медсестра, и вслед за нею конечно же Эмма Борисовна:

— Коленька, я прошу тебя: все!

Веденина повели к дивану, и они все четверо поднялись, попятись к выходу, только с невольной виной кивали.

Эмма Борисовна взяла за руку Белового, задержала в соседней комнате:

— Останьтесь, прошу вас... Я должна с вами поговорить.

— Вы езжайте! — не обращая ни к кому в отдельности, сказал Беловой.

И он остался, глядел через окно, как Ступин, Брагин, Перчаткин решают, какую машину оставить для него, для Белового, как сами потом рассаживаются...

Смотрел, с носка на пятку покачивался, потом словно что-то уловил в себе, прислушался, замер...

Они с Ведениным сидели у того в кабинете, когда раскрылась дверь, вошел человек с раскладушкой, за ним вбежала рассерженная Нина Павловна.

— Товарищ Нефедов! Товарищ... Николай Фадеев! Я ничего не могла поделать.

А Нефедов у стеночки деловито расставлял раскладушку. Прежде чем лечь на нее, сказал:

— До тех пор, пока не позвоните в ЖЭК, чтобы они немедленно вернули квартиру, отсюда я не уйду!

Веденин посмотрел на часы, дружески сказал:

— У меня сейчас важное совещание! Нефедов! Может, часок ты пока в приемной полежишь?

Тот даже не приподнял головы:

— Мое слово, Николай Фадеев, вы знаете.

— Ну хорошо,— и Веденин посмотрел на секретаря. — Соедини меня срочно с погрузбюро.

Беловой ничего не успел сообразить, как Веденин уже говорил в трубку:

— В кабинет директора — срочно бригаду грузчиков. С машиною. Срочно. Надо тут вынести кое-что. В наряде потом укажете: уборка мусора с территории. И за вредность заплатите... тут с запахом!

Не мог же Беловой громко спорить с директором при этом фрукте — Нефедове! И он только имя-отчество Веденина повторял да показывал жестами: не стоит... нельзя!.. Нехорошо, мол!..

А грузчики были тут как тут. Словно давно уже дожидались в приемной.

— Вынести! — показал директор на раскладушку. — Только как можно осторожней.

— Не кантовать? — деловито спросил старший.

— Да-да, — подтвердил Веденин. — Не кантовать. На машину погрузите и — за проходную!

— Николай Фадееч! — как можно спокойней, но и как можно тверже сказал Беловой. — Или вы немедленно прекратите, или, даю вам слово! — следующее заседание парткома мы посвятим персонально вам!

— Ты меня обижаешь! — глядя на него ясными глазами, сказал Веденин. — Разве я не люблю бывать на парткоме?

Грузчики уже вытащили раскладушку с Нефедовым из кабинета, уже осторожно несли по коридору, а слева и справа распахивались двери — народ валил посмотреть на чудо...

Потом было жаркое заседание парткома, выступили один за другим, все, кто мягко, а кто и пожестче — как обер-мастер дядя Вася со старой печки — выговаривали директору, и Полосухин, этот рубахапарень, тоже говорил Веденину что-то доверительное, сердечное, что-то свойское, почти задушевное — умеет он, все заслушался! — и Беловой уже было успокоился и настроился чуть ли не на лирический лад, когда, заключая выступления, заговорил:

— Итак, товарищи, мы тут с вами три с половиной часа разговаривали на повышенных тонах, а это значит, что вопрос у нас на повестке дня стоял серьезный: нравственный облик руководителя... в данном случае директора завода... Николая Фадеевича Веденина, да. И все выступившие, все члены парткома единодушно подчеркнули, что Николай Фадееч бывает непростительно резок и временами проявляет своеволие, товарищи... Я думаю, что Николай Фадееч делает из этого соответствующие выводы, и хорошо, если хотя бы некоторые из них мы с вами услышали бы уже сейчас...

Лучше бы он ему слова не давал!

Веденин встал и долго молчал, словно что-то хотел додумать, потом громко сказал:

— Кочевники!.. Русь покончила с ними давным-давно, а вот черная металлургия никак не может... Это же надо! Сибирь для них дерьмом пахнет — Европу им подавай. Сегодня Череповец, завтра Липецк, а послезавтра — Жданов или Кривой Рог... У них, помоему, есть медицинские карточки на ведущих специалистов по всей стране. Только у кого здоровье чуть пошатнулось — кочевник под него уже едет. В надежде на скорую карьеру. А если там его раскусили, по-

няли, что за ценный кадр к ним прибыл... одним словом, не потрафил, он тут же обратный ход, домой, к мамочке!.. А директор все это время держи для него в резерве квартиру, чтобы он немедленно в нее и въехал. Он там вчера задал плавку и думает потом, что у нас сегодня он ее же и выпускает... Там квартиру закрыл вчера на ключ, этим же ключом думает сегодня уже у нас дверь открыть. Не-е-т, дорогие товарищи, так не бывает!.. С этим злом надо бороться. Так же упорно, как наши предки. Только тогда мы их победим. Только тогда покончим с этим бедствием черной металлургии — с кочевниками. — И тут он вдруг повернулся к Полосухину, повел значительно пальцем: — Так же, как с однорукими тоже покончим!

Полосухин простодушно улыбнулся:

— А это еще что за категория, Николай Фадееч?

— Должен бы знать! — живо откликнулся Веденин. — Потому что сам к ней принадлежишь! К этой категории... К тем, кто на заводе только одной рукой работает, потому что другая у него — там, в главке! — И поднял палец к потолку. И оглядел остальных... — Знаете, поди, а для того, кто не знает, скажу: из-за недогляда Полосухина в конверторном цехе мы понесли убыток почти в миллион рублей!.. В миллион, товарищи!.. А стоило его оштрафовать, как мне... оттуда... позвонили и пообещали — не поверите! — оставить без премиальных весь завод... я повторяю, весь! Должен вас поставить в известность, я сказал прямо, что мы готовы единожды пойти на такую жертву, чтобы только и духу его потом здесь больше не было! А мы его до сих пор в парткоме, Полосухина, держим. Как так вышло?.. Вот о чем надо было сегодня, товарищи!

Эмма Борисовна плотно прикрыла дверь, усадила Белового подальше от нее, села напротив сама и тут же заплакала. Он как мог начал утешать: не надо, не надо, мол!.. Все понимаю, только чем я могу помочь?..

— Обращалась я к вам когда-либо? — спросила она сквозь слезы. — Никогда, верно?.. Хоть у меня, может быть, и были основания... Может быть, были. Вы понимаете?.. Но я не из тех, кто ходит в партком, вы это знаете.

Беловой кивал, соглашался.

— Вы знаете, Николай Фадееч никогда не принадлежал семье, — давила она слезами. — Никогда!.. Завод. Коллектив. Прорыв. План. Пуск. Авария. Вот это все, чем он жил... Хорошо, может, отчасти я и сама в этом виновата! Как женщина... Что не смогла привязать к себе настолько... но как привяжешь, если такой характер?!

— В том-то и дело, — согласился со вздохом Беловой. — В том-то и дело!

— Но сейчас! — зашептала она еще горячее. — Когда осталось, можно сказать, всего ничего... Зачем же сокращать ему жизнь!..

— Мы стараемся, вы же не можете этого отрицать, но Николай Фадееч сам...

— Но можно же всех, кого он может позвать к себе, предупредить, что нельзя?! Ну пусть они поймут наконец: не-льз-я!..

— Хорошо,— согласился Беловой.— Это за нами. Такую работу мы у себя там проведем. Но тут еще вот что, Эмма Борисовна... На днях на завод прилетает Полосухин...

— Полосухин?!

Она задохнулась.

— Ну, тут уж ничего не поделаешь... как говорится, не в нашей власти.

— Если Коля узнает... вы понимаете, что это для него?!

— Потому и говорю, что понимаю. И давайте так: мы сделаем все, чтобы наши все держали язычок за зубами... А вы проведите работу с Зоей Николаевной... Чтобы она не проговорилась.

— Все, все!.. С Зоей я поговорю. Я думаю, уж на этот-то раз она поймет!

Встал Беловой, взял руку Эммы Борисовны в свои ладони, сказал глазами: держитесь!..

Аэропорт Сталегорска.

Вот-вот должен быть самолет из Москвы.

Чуть поодаль от бетонной полосы, на краю летного поля одиноко стояла черная «Волга» — так встречаются в провинции только важных гостей.

Около «Волги» прохаживается одетый с иголочки, подтянутый и, как всегда, решительный Брагин.

Метет первая поземка. Рядом на краю поля суетится воронья стая. Птицы переходят с места на место, беспокойно кричат, взлетают, делают один круг за другим, снова опускаются на бетон, и то, как садится каждая из них, явно напоминает Брагину приземление самолета — об этом говорит его сдержанная, но достаточно жесткая улыбка...

Но вот сел и московский самолет.

Стоящий у трапа Брагин вскидывает ладонь, и Полосухин приподнимает руки и разводит их так широко, что небольшой чемодан в одной и связка коробок в другой висят чуть ли не по обе стороны трапа.

Внизу он неторопливо ставит багаж на землю и даже отступает на шаг, только потом обнимает Брагина — по-братски крепко:

— Ну, здравствуй, старый дружище!.. Здравствуй!

Брагин пытается отобрать у гостя багаж, но тот не отдает, и они неторопливо идут к черной «Волге».

— Так ты, дружище, оказывается, не просто и. о.!.. — смеется Полосухин, когда Брагин сам садится за руль. — Ты и. о. дважды! Исполняющий обязанности главного инженера завода — это раз. А и. о. водителя — это два!

— Директорский шофер, видишь, часто занят у Деда... То привезти лекарства, то врачей... И тогда его подменяет мой. А я — вот!

Полосухин нахмурился, спросил озабоченно:

— Как он там?.. Дед?

Брагин только вздохнул и на секунду прикрыл глаза: плохо, мол. Совсем.

Сочувственно помолчал Полосухин, только потом спросил:

— Да, а как твой новый шеф?!

— Ты его знаешь не хуже меня.

— Но теперь-то он в новой роли, а большинство при этом тут же меняется.

Брагин не смог скрыть усмешки:

— Не тот случай! Этот как был...

— Я почему спрашиваю? — поближе придвинулся Полосухин, и его большая рука легла на спинку сиденья позади Брагина. — Открою карты, как говорится. Кроме всего прочего, меня попросили присмотреться тут к нему. Хотят в министерство взять!

— Перчаткина?!

— А это, я думаю, в твоих интересах, дружище, а?.. Не станешь же ты это отрицать?.. Потому что, если он тут останется директором — это, Юра, надолго. Такие, как ты, понимаешь, не горят и не тонут... А если его возьмут в министерство, а директором к вам придет кто-либо из наших, из москвичей, то... Сам понимаешь. Там он оставит квартиру. А в ней жену с детишками. И они его, конечно, запилят...

— Ну, уж это мне знакомо лучше, чем кому-то другому! — Брагин попытался сказать это как можно насмешливой, но неожиданно для него самого вышло горько. — И квартира в прекрасном городе... не хуже, чем Москва. И жена... правда, без детишек.

— У тебя другой вариант. Другой. А тут и в самом деле запилят. Плюс кое-какие другие привходящие обстоятельства... Столица! И через три-четыре года такой директор будет готов обратно — в родные пенаты. И тогда твоя очередь, Юра!

— Это тебе тоже поручили сказать?

— Нет, это я сам такой догадливый. И с тобой, как всегда, совершенно открыто, понимаешь?.. Так что, может, давай-ка продадим его, а? Перчаткина.

— В министерство, ты имеешь в виду? — усмехнулся Брагин.

И Полосухин рассмеялся так искренно, что на глазах у него выступили слезы:

— А ты все тот же, дружище, ты все тот же!..

— Хорошо это? Или плохо?

— Видишь ли, я довольно прилично знаю парня, которого могут к вам сюда бросить на укрепление...

— Знаешь, как себя самого?

И Полосухин опять рассмеялся до слез, только потом уже другим тоном проговорил:

— Я полагаю, вы бы с ним сработались, а?

— А можно я подумаю?

И Полосухин посерьезнел и по-дружески сказал:

— А как же, дружище, иначе?! Все наши беды от того, что мы — не думаем!

В кабинете у директора завода идет совещание. За длинным столом сидят Перчаткин, Брагин, Ступин, главные специалисты завода, а также Зоя, которая работает старшим инженером в Центральной заводской лаборатории. Здесь и начальник отдела капитального строительства Абрам Ушеревич Цинкер, маленький подвижный человек, которому на вид можно дать и пятьдесят, и семьдесят. Среди других участвует в совещании и начальник монтажного управления Васильев,

За отдельным столиком расположились Нина Павловна и Людмила с блокнотами.

Говорит обаятельный Полосухин:

— Признаюсь вам совершенно откровенно, что я не ожидал... таких всесторонних и таких глубоких ответов... на те вопросы, которые поставит перед заводом министерство. И в этом смысле со своей задачей... вы пока справляетесь, можно сказать, блестяще, и это, уверяю вас, вовсе не комплимент, а констатация факта, как говорится... Но я подчеркиваю: со своей задачей. Я же от имени руководства главка хочу поставить перед коллективом Сталегорского металлургического комбината сверхзадачу. И в этом, товарищи, разница. Не открою секрета, если скажу, что дела в нашей отрасли... хотя и наметились кое-какие... и даже, может быть, существенные сдвиги... в целом идут пока далеко не блестяще. Именно поэтому каждый лишний денек, который проработает ваша старушка домна,— это тысячи тонн чугуна в счет погашения общего нашего... и вашего в том числе, товарищи сталегорцы, долга государству... Потому я и хотел бы, чтобы все здесь присутствующие взглянули на дело именно с этой точки зрения... с точки зрения сверхзадачи, товарищи. Как, Александр Максимыч?.. Что скажете вы как руководитель?

— Мы вам назвали самый крайний срок... Какой только могли,— не сразу откликнулся Перчаткин. — А оттягивать его еще дальше — значит, идти на заводный риск. — Подумал немножко и добавил: — Я считаю, на большой риск.

— Все так считают? — спросил Полосухин. — И вы, Юрий Петрович, так думаете?

Брагин сперва замялся...

— У нас с Александр Максимычем всегда были разные мнения на этот счет. Имею в виду — риск. То, что он часто считает риском, на самом деле — всего лишь смелый инженерный расчет.

— При чем же тут смелый, если вы говорите: расчет? — возразил Перчаткин. — Расчет может быть только верным или неверным...

— Словеса! — уже резко сказал Брагин. — Все это словеса!.. А я считаю, что для нас это, если хотите, вопрос чести. Металлурги мы или нет?! Инженеры или недоучки? Если лаборатория со своими пробами не поможет нам верно угадать форму «разгара» в старой печке — этой самой луковичы в днице — значит, грош ей цена. Лаборатории... Так, Зоя Николаевна?

Она сказала, может быть, осторожней, чем в ее положении следовало:

— Предположим.

— И предполагать нечего, — отрезал Брагин. — Или если Ступин со своими орлами в самую нижнюю точку этой луковичы буром не попадет, чтобы весь чугун и в самом деле — до капли!.. Значит, тоже им грош цена. И тоже, значит, поганой метлой — и самого начальника, и всех его мастеров хваленых... Так, Алексей Степаныч?

Ступин сказал, словно приглядываясь к Брагину:

— В принципе, да.

Полосухин протянул в сторону Брагина крупную свою руку с раскрытой ладонью:

— То есть, как я понимаю, именно сверхзадачу вы, таким образом, и ставите сейчас перед специалистами завода? — резко сжал кулак и приложил к груди — словно что-то поймал.

— Ой, дорогие металлурги!.. Дорогие наши заказчики!.. — громко сказал молчавший до сих пор Васильев. — Не подведете вы нас под монастырь?.. Все прорехи одним стежком хотите залатать... Забрать все, какне можно, гроши...

— А ты в чужом кармане гроши не считай! — отрезал Брагин.

Васильев похлопал себя рукою по боку:

— Я в данном случае, скажу вам откровенно, больше за свой переживаю!

И все вдруг поняли, что да, что с запасцем, который они все-таки оставляли, придется распрощаться, что работать старая домна будет до самой последней, которая только теоретически возможна, минуты... И уже задвигались, уже засутились, когда Цинкер, словно бы что-то вспомнив, громко заговорил таким голосом, будто безмерно рад был, что в последнюю минуту ему это удалось:

— Товарищи, дорогие!.. И последнее, последнее!

Свои не обратили особого внимания на этот глас вопиющего, привыкли, судя по всему, но Полосухин жестом усадил всех на места и жестом же, подчеркивающим старое его знакомство с заводскими кадрами, дал слово Цинкеру:

— Абрам Ушерович!..

— Я вынужден снова поднять вопрос! — горячо начал Цинкер. — О сваях под полосой надвигки!

— И кроме того, я полагаю, — усмехнулся Брагин, — что Карфаген должен быть разрушен!

Но Цинкер откликнулся живо:

— Да, товарищи, да!.. И я не устану это повторять, как бы Юрий Петрович тут надо мной ни издевался, — шагнул к висевшему на стене снимку: две домны недалеко одна от другой — новая, старая. Ткнул пальцем в снимок и обернулся к Полосухину: — Дело в том, Вячеслав Дмитрич, что новая домна — эти четырнадцать тысяч тонн металла! — пойдет по дорожке, под которой еще лежат старые заводские коммуникации. Здесь ведь все вокруг было застроено, земли практически нет, одна начинка, как говорится... Потому-то сваи, которые строители били под путь передвигки... они в землю не полезли... входили в лучшем случае на одну треть, а остальное приходилось срубать... Мы-то им это разрешили, да, но проектный институт эту бумагу до сих пор нам не подписывает!..

— Да не по бумаге она поедет, Абрам Ушерович! — насмешливо сказал Васильев. — Домна твоя. А поедет по стальной полосе...

— Тут и ежу все ясно, — добавил Брагин.

— Это какой же институт? — спросил Полосухин.

— Московский Гипрофундамент, — быстро ответил Цинкер.

— Известные перестраховщики, — развел руками Полосухин.

— Причем мне известно, что там уже успели подготовить три кандидатские диссертации на эту тему... По нашей надвигке. А вот принять простое решение...

— Значит, все же простое?! — наставил на Цинкера палец Васильев. — Я как-то по дороге на стройку достал из кармана калькулятор, просчитал все за десять минут, и с тех пор все споры мне — до лампочки!

— Потому что вы отсталый человек и вам только работу подавай! — назидательно сказал Цинкер. — И совсем другое дело, если бы вы решили получить ученую степень!..

— На хрена волку жилетка, ты меня, Абрам Ушевич, извини? — радовался такой беседе Васильев. — По кустам трепать?..

— Вопрос закрыть, — подвел черту Полосухин. — И чем скорее, тем лучше.

Все снова задвигались.

— А ежу, дорогой Юрий Петрович, все потому и ясно, — назидательно сказал все еще обиженный на главного инженера Цинкер, — что ему как раз не приходится иметь дело с таким количеством бумаг всякого рода!..

Гуляет по бескрайней тайге злая вьюга.

Чуть потише она на вершине сопки, где расположен дом отдыха.

Однако и здесь уже лежат горбатые сугробы, перемело аллею, под ветром, словно дымы, струятся с крыш сухие и длинные шлейфы снега...

Через окно, затянутое снизу ледяными узорами, смотрит на метель старый Веденин. Рядом с ним прикнулся к подоконнику мальчик с теплой повязкой на горле.

Два затворника.

На кормушку за окном, пробившись через косой ветер, сели подкормиться два воробья.

— А почему один воробей — серый, а другой — черный? — спрашивает у деда Максим.

— Потому что серый живет здесь, а здесь чистота вон какая, — кивает дед за окно. — А черный из города прилетел. Он там на заводе живет. В горячем цехе.

— А сюда отдохнуть тоже прилетел?

— Ты посмотри-ка!..

За окошком доктор Виктор Карлович Райх с поднятым от ветра воротником явно украдкой ведет под уздцы лошадь. Подходит с нею совсем близко к дому — горячей мордую лошадь тычется в заиндевелое стекло.

Ясно, что это свидание с лошастью устроили для мальчика два добрых старика.

И Максим прыгает, обеими руками машет лошади, потом, безжалостно раздавливая нос, прикивает лицом к окошку, и лошадь, явно волнуясь, раз и другой наклоняет голову, высоко поднимает одну ногу, потом другую.

— Окошко хочет выбить! — в восторге кричит Максим.

— Тс-с-с! — шепчет дед. — Ты ее учил, что ли?

— Почему это я?.. Я окно не разбивал!

— Не разбива-а-ал! — передразнивает дед. — А ты не мог не простужаться?.. Из-за тебя теперь и меня не выпускают!

— Не-а!.. Тебя из-за тебя не выпускают.

— Кто лучше знает?.. Ты или я?

— Меня ругаешь, а сам заболел.

— Это разные вещи, тише!

— Не-а, бабушка говорит, если бы ты правильно вел себя, ты бы тоже не заболел.

— Ты ее больше слушай!

— Совсем не слушать?

— Не в этом дело! — морщится дед. — Тебе сейчас нельзя болеть, потому что ты мой связной.

— Какой связной?

— Вдруг встретит тебя на улице кто-либо... Встретит и скажет: передай дедушке то-то и то-то. И ты должен передать.

— То-то и то-то?..

Неожиданно насторожившийся Веденин вдруг громко шепчет:

— Ата!..

И мальчишка тут же бросается в кресло под торшером, быстро берет в руки книжку.

Откидывается на подушку Веденин.

Торопливо уходит из-под окна доктор Райх с лошастью.

И открывается дверь, и почти торжественно входит Эмма Борисовна с небольшим подносом, на котором стоят и стаканы с градусниками, и стоят склянки с микстурами, и еще что-то столь же малоприятное, а за Эммой Борисовной идет симпатичная медицинская сестра...

Вслед за Брагиным Ступин вошел к нему в кабинет, и Брагин тут же снял трубку, набрал номер.

— Зоя Николаевна? Брагин. У меня тут Ступин. Давайте-ка срочно к нам. Сверим часы, как говорится. Ждем.

Сказал, как телеграмму отбил.

— У меня к ней вопросов нет, — сказал Ступин.

— Зато у меня есть.

— Посвяти.

И Брагин усмехнулся:

— И так слишком много посвященных...

По лицу Зои, когда вошла, совершенно ясно можно было увидеть, что она не собирается прощать Брагину его предательства на совещании, которое вел тогда Полосухин... а может быть, дело в чем-то другом?.. Куда более личном?

— В последнее время, Юрий Петрович, вы заваляли меня работой, но я понимаю, что это производственная необходимость, поэтому делаю все, что в моих силах, — сказала, положив на стол стопку бумаг и холодно глядя Брагину в глаза. — Здесь все, что я вам должна. Даже средний инженер разберется без моей помощи. А Ступина я у вас забираю. Вы сами любите только конкретный разговор, а потому возьмите и нам с ним поговорить с цифрами в руках.

— Я хочу, чтобы по последним пробам вы еще раз просчитали остаток чугуна, — строго сказал Брагин.

— Именно об этом и будет разговор, — и она взяла Ступина под руку. — До свидания.

— До встречи вечером! — предупредил Брагин. — Учтите, что я сам буду руководить выпуском!

Ступин остановился:

— То же самое только что сказал мне Перчаткин...

— Но ты-то не мальчик и сам должен разбираться, чья это функция!

В кабинет заглянула Варвара, увидела рядом стоящих под руку Зою и Ступина и не смогла скрыть усмешки.

— Прошу простить за вторжение. Ваша ученая помощница, Алексей Степаныч, делает успехи — она разыскала вас!.. Юрий Петрович, позвольте Ступину взять трубку?

Ступин подошел к телефону и тут же построжал лицом и стал, нахмурясь, поглядывать на Брагина.

— Только что звонил Семенов, обер-мастер наш, — сказал огорченно, когда положил трубку. — Приболел. Чем-то отравился, говорит... До завтра поклялся оклемаваться. А без него — никак... Так что выпуск придется отложить. По крайней мере до завтра.

Брагин, который собирался закурить, смял в руке пустую пачку, швырнул в корзину:

— Знаем мы, чем они травятся!.. Скажи ему, чтобы в следующий раз лучше закусывал!

Вечером по неширокой лестнице нового дома тяжело поднимался Ступин. Ладонью надавил на звонок и не убирал руки до тех пор, пока ему не открыли.

— Ты что, выпил? — спросила миловидная женщина в домашнем халате.

— Это идея! — приподнял он палец. Изображая крайнюю усталость, шагнул в коридор, начал раздеваться. — Иначе я просто не выживу.

— Тогда, конечно, придется тебе позволить...

— А есть у тебя что-нибудь такое... для души?

— Н-ну, если хорошо попросишь...

— Считай, что я на коленях.

— Тогда считай, что я тебе налила и ты уже выпил.

— Тоже резонно, — сказал он, приваливаясь теперь плечом к притолоке на кухне и опустив голову, — глядел исподлобья, как она собирает на стол.

— Да что случилось? — спросила жена.

— В общем, ничего, все то же самое... Сперва один гигант к себе вызывал и битый час мозги сушил... говорил, что последний выпуск как руководитель завода он берет под свой контроль и давал, конечно, ценные указания...

— Это Перчаткин?

— А потом второй вызвал... и давал, естественно, еще более ценные указания. Компетенция!.. Функция!.. А все решать будут не они и даже не я, хоть это мой хлеб, как говорится. Решать будет обер-мастер дядя Вася Семенов.

— А почему именно дядя Вася?

— У него чутье... как у хорошей гончей. Это раз. А второе... Одному, понимаешь, принесут данные из лаборатории, все эти ленты... перфокарты... А он: ладно, мол. А то мы не знаем, кто там, в этой лаборатории, штаны протирает.

— Ну, протирают там, положим, не только шта-

ны — больше юбки, — словно бы намекая на что-то, сказала жена Ступина.

— Это уже детали, — отмахнулся он. — Главное, что дядя Вася все эти данные так проштудирует, что ты его среди ночи подними, и он...

— Ясно, — сказала она. — Садись.

Он вдруг повеселел:

— Но ты-то у меня!.. Ну, умница! Ну, лапушка!.. Им, видишь, и в голову не пришло, а ты первая спросила: а почему — не кто-либо другой, а дядя Вася?.. Дай я тебя за это...

Обнял ее, и раз, и два поцеловал сначала шутя, а потом вошел, что называется, во вкус, и вот уже куда девалась усталость — как в молодости, бывало, несет ее на руках, а она, смеясь, отбивается:

— Пусти, слышишь?! Ну, дай хоть мне...

И она освобождается, гасит свет и зажигает торшер, и стелет постель, ныряет под одеяло и, пока Ступин укладывается рядом, говорит тихонько и счастливо:

— Выпало бедной женщине счастье... Десять вечера, рань такая, а она уже — в теплой постели рядом с любимым мужем. И откуда такое свалилось? Кого благодарить?

— Ну, как это кого? — смеется Ступин, который собирается погасить свет. — Дядю Васю, конечно. Обер-мастера...

И тут звонит телефон. Ступины глядят друг на друга: брат трубку?.. Не брат?..

Он вздыхает, берет и начинает говорить сперва спокойно, а потом все более тревожно и в то же время насмешливо:

— Да... да. А чего эт тебе не спится?.. Как это — из цеха? Почему?.. Ну, ха-рош, ха-рош, говорю! А что мы завтра скажем? Диплома-а-ат!.. Еду, конечно... Ну еще бы! Спасибо за доверие!..

И пока говорил Ступин, уже и приподнялся на постели, и опустил ноги на пол, и привычно нащупал тапочки.

— Кто это? — в голосе у жены послышалась и легкая ревность, и далеко спрятанная обида.

— Ты представляешь?! Нарочно пустили днем слух, что обер-мастер приболел. Все теперь знают, что последний выпуск — завтра, а они там тихой сапой уже козловую летку пробивают! Ну, дядя Вася!..

Она грустно улыбнулась:

— С твоим дядей Васей не соскучишься.

Он только виновато развел руками...

Когда Ступин вошел на литейный двор старой домны, из козловой летки уже хлынул чугунок, покатило тугую струей и все, кто был около печи — и вызванные специально бурильщики, и свои горновые, — стояли притихнув, смотрели на огненный поток.

Где-то поблизости слышались громкие удары по металлу. Из-за печки появился высокий парень с кувалдой в руках. Новенький в этой смене, Михеев. Неторопливо шел вокруг кожуха и время от времени с силой бил по нему. Позади него шел другой. Когда оба уже были близко от остальных, задний, нарочно приседая, расхохотался и показал на первого пальцем, и



тот миг-другой сначала стоял, ничего не понимая, потом до него дошло, и он, закиная яростью, приподнял кувалду и бросился на «купившего» его горнового.

Ступин был ближе остальных к ним, заступил дорогу, схватил этого, с кувалдой, за руки:

— В чем дело, Михеев?!

— Сволочь! — задышался тот. — Приказал бить по кожуху, чтобы шихта лучше осела!

Это была старая, «фирменная» для доменщиков шутка, но в глазах у парня Ступин увидел слезы, а на лице у него была такая горькая обида, что неожиданно для себя самого начальник цеха грубо спросил:

— Ну и что?! Кишка тонка?

Вывал у оторопевшего Михеева кувалду и сам шагнул к кожуху, ударил раз и еще раз... К нему заторопился обер-мастер, нарочно громко сказал:

— Что ж мы, Алексей Степаныч, сами не справимся? Еще ты у нас бить будешь!

Отобрал кувалду, ударил сам, а ему на смену уже спешил кто-то из горновых, и только двое стояли все в тех же позах: явно виноватый «покупщик» и все еще подозрительно вглядывающийся в лица вокруг Михеев.

— Жеребцы,— негромко сказал Ступину дядя Вася, когда его уже подменили. — Нашли время хохмить! Спасибо тебе, Степаныч! А то вот так саданул бы по тому месту, откуда ноги растут, а мне потом завтра докладывай: чепе!

— А тебе только этого и не хватало!

— Ты мне, Степаныч, видишь, сказал тогда: сверхзадача! — словно оправдываясь, проговорил обер-мастер. — А для меня она — в чем?.. Чтоб каждый из моих ребят своим делом занимался, и никто бы его не дергал, не отвлекал, никто бы над душой не стоял... Разве это тебе не сверхзадача?

Ступин только посмеивался.

— А то у нас на заводе был один Дед — Веденин. А сейчас сразу — вон сколько! — продолжал обер-мастер. — И каждый хочет командовать... а кто из них настоящий?.. Кого слушать-то?.. Потому и позвал только двоих: тебя да Зою вон из лаборатории...

Дядя Вася повернул голову, и только тут Ступин увидел Зою: одна-одинешенька стояла на галерее, и отсюда, издали, особенно хорошо было видно, какая она потерянная и грустная.

Ступин вбежал на галерею, тронул ее за локоть:

— И вас оторвали от домашнего очага?

Она кивнула.

— Как сын?

— Опять прибалывает... зима!

— А Николай Фадееч?

Наверное, настроение у нее было такое — сказала искренно и печально:

— По-моему, он довольно удачно притворяется...

— То есть?! — не понял Ступин.

— Притворяется, что стал образцово-показательной больной,— грустно рассказывала Зоя. — Поддакивает врачам... пьет лекарства. Маму слушает. А сам, даже когда стонет, одним глазком подглядывает,— и она попробовала изобразить отца. — Вот так.

Ступин невольно рассмеялся, а она сказала серьезно:

— По-моему, он что-то затевает!

— Так это же прекрасно, Зоя!

Она спросила грустно:

— Для кого?

— Для всех нас,— убежденно сказал Ступин. — И для него самого тоже — я вам голову даю на отрез...

— Мы стоим тут,— проговорила Зоя, показав подбородком на печь. — А ведь она, по сути дела, сейчас умирает... Вот в эти самые минуты.

Снизу им махал рукой обер-мастер.

У нижней козловой летки еще алела тоненькая струйка чугуна, а рядом уже подметали двор, уже убирали все, что можно было убрать, отыскивая что-то, заглядывали по углам, и чувствовалось, что литейка пустеет уже навсегда.

Прямо тут, недалеко от остывающей печки, расстелили брезент, стали выкладывать на него принесенные из дому припасы. Переговаривались еле слышно, и все с каким-то особым значением в голосах, как бы торжественно. Сиделись кружком. Для Зои сложили одна на одну широкополые войлочные шляпы.

Всем понемножку налили, и обер-мастер стащил кепку и поднял стакан:

— Ну... спасибо, что столько лет грела нас.

— Вообще-то хорошо грела!

— Чего там говорить: печка знатная. Была бы она побольше...

— И спасибо всем, кто затухнуть ей ни разу не дал,— сказал обер-мастер. — Только когда захотели, вот тогда и...

— А ведь она как чуяла, дядя Вася,— сказал один из горновых,— что она в последний раз горит!..

— Спасибо тебе, Зоя Николаевна,— продолжил обер-мастер.

— Ну уж! — сказала она, грустно улыбувшись.

— Не скажи, Зоя Николаевна. Не скажи. Уж я-то знаю, как ты тут поработала!

— Спасибо, Алексей Степаныч, что прийти не отказался,— сказал обер-мастер.

— Мудрецы! — улыбнулся Ступин. — Спасибо, что позвали.

— Всем спасибо! — закончил дядя Вася.

И Ступин поднял руку:

— Тебе, дядя Вася, спасибо. Главной няньке ее...

Когда они вышли с литейного двора, снаружи густо лепил снег, и снизу временами не видно было, что происходит на самой верхушке домны,— только, пробивая белую пелену, там уже поблескивала ослепительно электросварка. Потом появились над верхушкой контуры крана...

— Быстро они!..

— Ну а как же — спешат!..

Стропальщик вверху громко кричал — кричал, судя по интонации, что-то веселое,— но они никак не могли разобрать: что кричит?

Стояли горновые в черных суконных куртках, смотрели вверх, и снег падал им на плечи, на лица. Зоя тронула Ступина за руку:

— Я вам точно говорю, он что-то затевает! Отец...

...Рабочий день уже окончился, можно идти домой, но Людмила с Варварой сидят в приемной у Нины Павловны — все трое ждут разговора с Москвой.

По телевизору закончили передавать новости, идут титры сообщения о погоде, и все поглядывают на экран — как оно там, в Москве?..

— И никогда в магазине продавщицам не говори, что ты — приезжая, — продолжает наставлять Людку Варвара. — Потому что приезжей дурочке они любой брак подсунули, а завтра она уже улетела в свой любимый Сталегорск, а то в Магадан или еще куда дальше — и горячий привет!.. Что она, скандалить к ним вернется?.. Конечно, нет! А если ты москвичка и на соседней улице живешь, значит, ты к ним завтра вернешься и плюнешь в бесстыжие глаза: зачем брак подсунули?.. Это ты понимаешь?.. На это, слава богу, ума хватает?.. Потому что на твоих любимых курсах об этом, я понимаю, вам просто позабыли...

Раздается длинный звонок, и Нина Павловна снимает трубку, спрашивает весело:

— Лариса Санна?! Рада твой голосочек... рада!

— А как же я им скажу, что я москвичка, — о чем-то своему продолжает размышлять Людмила, но Варвара выразительно глядит на нее: ты что, мол, ненормальная?.. Не понимаешь, с кем Нина говорит?!

— Как вы там все? — очень дружески продолжает Нина Павловна. — Что у вас тоже холодно, это мы знаем, только сейчас по телевизору, да... А здоровье как? А детишки?.. Риммочка?.. А Павлик?.. Как мы?.. Ты же знаешь. Откуда все наши дела. Ну, ничего, конечно, держимся... Еще как, да! Пошляем вот в столицу одного родного нам человечка. На Выставку достижений. Югославские сапожки купить, да... Еще кое-что, у нее тут свои проблемы. Ну, и список наши девочки навязали... Гостиницу закажешь? Спасибо, лапа! Запиши фамилию: Суханова. А что тебе с ней передать?.. Орешков кедровых — это само собой... У нас сейчас мода: мужички их со скорлупой жуют, говорят, что помогает... От всех болезней, да. Ну, и от самой главной, а как же... Прислать одного? Нет уж, мы пришлем вам орешков, а вы там своего откормите, а нашим некогда — им домну двигать надо.

И вдруг лицо у Нины Павловны меняется так стремительно, что разом перестают улыбаться Варвара с Людмилой. Во все глаза глядят на Нину Павловну.

— А ты могла бы нам копию с этой бумаги? — хмурится Нина Павловна. — Постарайся, пожалуйста!.. А вот с Людой и передашь. Какой ты молодец!.. Увидимся, расцелую... конечно, будем держаться!.. Спасибо, что предупредила. От нас всех!

Кладет трубку, молчит, все еще продолжая озабоченно хмуриться.

— Девочки! — говорит наконец горячо Нина Павловна. — Я могла бы вам этого и не говорить, сама бы что-либо придумала — уж вы не сомневайтесь, придумала! Но хочется, чтобы вы тоже кое-что поняли, раз уж за такое дело взялись... Даете слово, что пока — никому ничего?

Обе только задвигались — но в этом готовность поклониться самой страшной клятвой.

— Помните, московский Фундаментпроект прислал нам эту бумажку, где и вашим, и нашим?.. На счет свай под полосу для надвигки?.. Так вот Перчаткина Полосухин изнасиловал, заставил принять решение, что все в порядке, а сам там для себя бумагу заготовил, что двигать домну нельзя... не так станет. Девочки в министерстве печатали. На всякий случай приедет с нею в кармане... мало ли что? А он все равно будет на коне.

— Давайте я в Москву полечу! — предлагает Варвара очень решительно.

Людка воспринимает этот вариант вполне серьезно и потому обижается:

— Тебе чего там делать?.. Мне приданое запастись надо...

— Вот-вот! — словно радуется своей правоте Варвара. — Приданое ей!.. Или сапоги свои югославские еще за километр в очереди увидит, раскроет «варежку» и про все на свете забудет!

— Ты уж, Люда, не подведи, — просит Нина Павловна. — Ты уж найди время зайти в Минчермет да бумагу эту спрячь потом в самом деле понадежней...

— А зиму проходишь в валенках, ничего с тобой не случится! — снова встречается Варвара.

— Конечно, прохожу, если что, — покорно соглашается Людмила.

— А то ей, видишь ли, и приданое, — бесстыдно выпячивает Варвара живот, — и видишь ли, сапоги... куда тебе в них?.. На танцы? Надо было раньше думать!.. А теперь все, подруга: поплясали, и хватит!

Перчаткин открыл дверцу «Волги», вместо приветствия сказал:

— О, кто у нас нынче во вторую смену!.. Давненько я тебя, Валера, не видел... Как Николай Фадеев? Они уже ехали, и водитель вздохнул:

— Бабушка у меня померла!..

— Вчера?!

— Да нет, уж лет пятнадцать... Она бы его вылечила! От всех болезней лечила. Травами.

Перчаткин засуетился вдруг:

— Ты куда повез?.. Мне в горком срочно!

— А на домну разве не хотите глянуть?

— Ах да! — припомнил заматанный Перчаткин. — А в горком не опоздаем?

В голосе у Валеры послышалась то ли легкая обида, то ли некоторое превосходство:

— Да еще не было случая, чтобы опаздывали!

Машина остановилась среди нагромождения металла и техники.

Где-то посреди этого хаоса ярко горел свет, слышался говор и веселый смех, и директор направился туда. Рядом с развалинами, которые только и остались теперь от домны, на литейном дворе лежал похожий на большой, перевернутый вверх дном чугунок слиток металла, и на нем, поддерживая друг друга, пытались уместиться десятка полтора человек — горновые с обер-мастером, начальник цеха Ступин и с ними единственная женщина — Зоя.

Напротив них ярко горели юпитеры, стоял на треноге киноаппарат — хроника готовилась к съемкам.

— Зоенька! — кричал один из киношников — боро-  
датый, в темных очках. — Держитесь ради бога в  
центре — вы очень оживляете кадр!

— Имейте также в виду, — кричал другой, — что  
можете оживить и беспрсветную жизнь этого типа,  
который вас снимает!

— Он думает, что он шутит! — вторил ему  
бородатый. — В то время как это — истинная правда,  
Зоенька!

— Вот это и весь «козелок»? — спросил Перчат-  
кин, кивнув на слиток у них под ногами.

— Весь! — кричали сверху. — А вы думали?!

— Даже на общий постамент не хватает!

— Молодцы, ничего не скажешь, — похвалил Пер-  
чаткин. — Это работа.

— Высший пилотаж!

— А вы давайте к нам, Александр Максимыч!

— Потеснимся, так и быть!

— Черти! — свойски сказал Перчаткин. — Навер-  
но, потому не позвали на выпуск, что на этом вашем  
педестале не так уж много места.

— Для вас найдется!

— Спасибо, — сказал. — Я с вами знаете когда?  
Когда печка выйдет на проектную мощность!

— О, это еще когда будет!

— Ее еще, между прочим, передвинуть надо!

— Передвинем! — и он ладонь приподнял: ничего,  
мол, не беспокойтесь.

Этот, в темных очках и бородатый, громко сказал:  
— Между прочим, специально интересовался этим  
вопросом. У американцев и печь была полегче, и рас-  
стояние куда меньше — загремела!

— У нас не загремит! — успокоил Перчаткин.

— Да как знать?!

Перчаткин уже скрылся за громадной царгой — за  
частью кожуха — и только там сплюнул: дернуло его  
за язык!.. Хорошего настроения как не бывало. Мо-  
жет, поэтому ничего не сказал водителю...

Машина тронулась. Краем глаза Валера видел  
хмурого директора и поэтому попытался хоть слегка  
отвернуться... Нет, все равно видно! Отвернулся еще  
чуть-чуть. А когда повернул голову, в кресле рядом  
сидел Веденин...

...Веденин сидел в кресле рядом с Валерой.

— Ты, Валерий, считаешь, что нам лучше опоз-  
дать на это совещание?

— Тогда надо было выехать раньше.

— Стоять в предбаннике и слушать сплетни?

Он вывернул из ряда, бросил машину на осевую  
линию. Водитель встречного МАЗа приставил палец  
к виску, — ты что, с приветом?

— Видите, что он мне показал? — спросил Валера.

— Давай с тобою будем считать, что каждый раз  
это они мне показывают, — как всегда, чуточку в нос  
сказал Веденин. — Ведь это я тебя тороплю.

Валера дернул головой и засмеялся.

Впереди был переезд, шлагбаум закрывался, и Ве-  
денин сказал:

— Проскакивай.

Машина сделала зигзаг, шлагбаум остался позади.

А за будкой на переезде прятался «жигуленок» с ми-  
галкой на крыше. Молоденький сержант с полосатой  
палкой шагнул на дорогу, сказал почти задушевно:

— Корочки!

— Это я попросил водителя, — сказал Веденин.

Сержант вертел в пальцах Валерины права и по-  
сматривал на директора: узнал, конечно. Отдавая, по-  
качал головою и вздохнул.

Когда они отъехали, Веденин как будто вспомнил:

— Между прочим, у меня тоже есть корочки.  
Рылся вчера в бумажках, искал одну. И вдруг нашел.  
Специально захватил — тебе, Валерий, показать.

Валера повертел в руках старое-престарое удосто-  
верение:

— Двадцать восьмой год! Ничего себе!..

— На право вождения трактора! — поднял палец  
Веденин. — Так что голыми руками меня, брат, не  
возьмешь!

Спрятал корочки и опять сказал, кивая на шлаг-  
баум впереди:

— Проскакивай!

И опять они проскочили, и опять из-за будки  
вышел гаишник — месячник безопасности у них,  
что ли?!

Неторопливо шел к «Волге».

— Ваши права!

Валера рассерженно потребовал:

— Николай Фаденч, показывайте!

Тот сперва не понял:

— Что показывать?

— Как что? Корочки свои!

— А-а-а!

И Веденин торопливо полез во внутренний карман  
пиджака, протянул милиционеру затрепанное свое  
удостоверение. Тот сурово сдвинул брови и посмотрел  
на них — на одного, на другого. Они сидели, затаясь,  
глядя на гаишника, словно нашкодившие мальчиш-  
ки, ждали, что решит...

— Жаль пробивать, товарищ Веденин, — пытаюсь  
сохранить остатки строгости, сказал милиционер. —  
Можно сказать, история! Но в следующий раз... — И  
взял под козырек.

— Слышал, что он сказал? — словно мальчишка,  
радовался Веденин, когда они уже снова мчались по  
шоссе. — Нет, ты слышал?

...Они подъехали к горкому, когда к широкой стек-  
лянной двери спешили опаздывающие, и Перчаткин  
тоже заторопился... Валера протянул ему руку, и тот  
машинально сунул свою, но водитель задержал ди-  
ректорскую ладонь:

— Это Николай Фаденч сказал: руку ему по-  
жми, — свободной рукой Валера достал из «бардач-  
ка» черную кожаную папку, протянул Перчаткину. —  
Вот за это!.. Когда будешь отдавать, пожми, говорит,  
крепко!

— Неделию искал! — обрадовался Перчаткин. —  
Куда, думаю, засунул... как она попала к нему?

— Вот этого не знаю... Знаю, он ее от Эммы Бо-  
рисовны в подушке прятал... Не опоздаете?

И Перчаткин снова заторопился, быстро выбрались

с папкою из машины, бросился было к стеклянной двери, тут же вернулся, хотел, видно, что-то еще спросить у Валеры, но «Волга» уже отъехала, и он стоял, вслед ей протягивал руку...

Только вчера, видно, стихла очередная долгая вьюга, а сегодня под ярким солнцем сверкают сугробы посреди заметенного до подоконников на первых этажах дома отдыха металлургов.

Дворники расчищают дорожки. Громко играет музыка. Спешат одиночки с лыжами на плечах, торопятся парами и веселыми компаниями: судя по всему, нынче выходной...

От коттеджа Ведениных идет по расчищенной дорожке закутаный Максим. С заметным поклоном здоровается со старым дворником, и тот, растроганный вежливостью мальчика, ласково отвечает ему, а Максим, тронутый, в свою очередь, ласкою старика, вдруг возвращается к нему:

— А вы дедушке ничего не хотите передать?..

— Ну как же, как же! — говорит дворник. — Поклон ему передай. Низкий. Скажешь, от Лукьяныча.

— А еще?

— Передай, чтобы выздоравливал...

— А то-то и то-то?

— Эт ты насчет чего? — не понимает дворник.

— То-то и то-то?

Пожимает плечами дворник. Уходит по тропинке одинокий Максим.

Старик смотрит ему вслед, говорит сочувственно: — Без полчаса — сиротиночка, и-их ты!..

Спешат лыжники, степенно идут люди солидного возраста без лыж — те, кто прогуливается скорее после пропущенной перед обедом рюмочки...

По аллее недалеко от коттеджа Ведениных прохаживается Нина Павловна. Неторопливо идет и сюда, всем своим видом будто доказывая кому-то, что и она сейчас такая же отдыхающая, как все вокруг...

Но Эмму Борисовну не проведешь.

Пошла была в сторону от коттеджа и вдруг обернулась, узнала, решительно пошла навстречу:

— Что вы здесь делаете?

— О, Эмма Борисовна! — довольно умело изображает радость Нина Павловна. — Во-первых, здравствуйте... А во-вторых... Разве не хочется отдохнуть замотанному секретарю еще больше замотанного и. о. директора?.. Вот и купила путевку на один день...

В голосе у Нины Павловны слышится и миролюбие, и покорность, но Эмма Борисовна непреклонна:

— Могла бы поверить вам, если бы знала вас хоть чуточку меньше!.. Уж не хотите ли вы сказать, что вовсе не затем тут маячите, чтобы Николай Фадеич увидал вас из окошка и, видите, призвал бы...

— Насколько я понимаю, у него совсем другое окошко... разве нет?.. Из которого нас с вами... вот тут... просто не видно.

— И тем не менее мне придется попросить секретаря парткома поговорить с вами еще и персонально, — строго говорит Эмма Борисовна. — Николай Фадеич отдыхает... и вообще в последнее время; когда

его перестали беспокоить, ему стало заметно лучше...

Нина Павловна искренне обрадовалась:

— Правда?!

— Так что не сокращайте ему жизнь, дорогая!..

Неподалеку от них проходит Максим, он, может быть, даже видит их, но у него сейчас вид человека, слишком занятого своими мыслями...

— Николай Фадеич и так отдал заводу больше, чем это вообще для кого-либо возможно, — продолжала отчитывать Нину Павловну Веденина. — А когда под эту якобы общественную марку пытаются получить от него что-то еще и для себя...

— Эмма Борисовна! — и с укором и с явной болью только и говорит Нина Павловна, видно, что это не первый разговор в подобном духе.

— До свидания! — почти торжественно говорит Эмма Борисовна. — Все, что хотела вам сказать, я сказала... И учтите: я только что хотела выйти из дома, но, зная вас, я возвращаюсь!

Эмма Борисовна, высоко подняв голову, направляется обратно к коттеджу.

Нина Павловна, явно потерянная, идет по аллее, оборачивается к коттеджу, но ей сигналият — неподалеку стоит белая «Волга», явно личная, и пожилой человек в ней, конечно же воздыхатель Нины Павловны, распахивает переднюю дверцу...

И тут Нина Павловна видит мальчика...

— Максим! — кричит она. — Максим!..

Но мальчик не слышит, он идет себе, как шел, по другой дорожке, и тогда она бежит через разделявшую их полосу глубокого снега, догоняет его, наклоняется, чтобы лучше видеть лицо, присаживается перед ним на корточки:

— Гуляешь? Ты один?..

— Меня доктор уже выпустил, а дедушку никак...

— Ну, ничего!.. Какой ты молодец! — И она достает из кармана пальто небольшой пакет. — Ты передашь это дедушке?

Глаза у мальчишки загорелись:

— То-то и то-то?

— Да! — соглашается она, торопливо определяя пакет ему за пазуху. — Только одному ему, понимаешь?.. Ты сам раздеваешься?! Только сам, смотри!..

— Это тайна?

— Да-да, конечно, тайна...

— Военная?

— Ну-ну, если хочешь, и военная, а что?.. Большая тайна! И никому это не отдавай, кроме дедушки. Не отдашь?.. И не потеряй, пожалуйста, Максим, миленький, иди сразу!

Мальчишка, исполненный значения наконец-то возложенной на него миссии, уже торопится к дому, а она, чтобы их вдруг, чего доброго, не увидели рядом, снова бросается через снег.

Оборачиваются они одновременно.

— А я тоже люблю — вот так! — кричит ей Максим.

— Как?!

— Ну, вот так в снегу!

И он показывает на горло,

Дома бабушка, оторвавшись от горячего разговора с дочерью, идет к мальчику, но он вырывается:

— Сам!

— Но у тебя руки совсем заоченели!

Он говорит решительно:

— А я вот укушу!

— Зоя?! Слышишь, как он — с бабушкой?.. Раздень в таком случае сама. Это твой сын, в конце концов... Пусть тебя и укусит!

Мальчик пытается вырваться и у матери, но та, подогретая сном Эммы Борисовны, держит его цепко, тут же снимает шапку, начинает расстегивать пуговицы... Пакет падает, мать и сын быстро наклоняются, но она успевает первая:

— А это еще что?!

Он смотрит на нее с явным превосходством, пожалуй, даже чуть-чуть с презрением:

— Рассекотишь теперь?!

— Откуда ты знаешь такие слова? — удивляется пораженная Зоя.

Он смотрит ей в глаза, говорит твердо и с явным вызовом:

— А я все про тебя знаю!

И она глядит на него с невольным уважением: может, узнает в нем своего отца — деда Максима?..

К ним приближается Эмма Борисовна, но Зоя уже открывает дверь в комнату, где лежит Веденн, подталкивает в нее Максима:

— Отдай быстренько!

— Зоя, почему он побежал в валенках?

Эмма Борисовна пытается заглянуть в комнату, но Зоя уже прикрыла дверь.

— Ничего, мама. Ничего.

Приемная директора завода. На составленных в длинный ряд стульях скачуют в ожидании своего часа многочисленные посетители.

Из дверей кабинета директора выходит Нина Павловна.

— Товарищи, Александр Максимыч просил извинить его, но совещание затягивается, и нынче он никого не примет.

Все встают, все идут к ее столу, в приемной разом становится шумно:

— Ну как же так — столько ждать, и вот!..

— Безобразие, конечно!

— Форменное!

— Надеюсь, вы отдаете себе отчет, что это не прихоть?! — громко спрашивает Нина Павловна, и все вдруг смолкают: столько неожиданной власти слышится в ее голосе, настолько повелителен сейчас каждый жест, настолько решителен и даже как будто величав сейчас весь ее облик. — Через три дня у нас надвигаются дожди, событие, как понимаете, исключительное не только для нашего города, не только для Сибири, — уникальное в мировой практике!.. И у товарищей из министерства много вопросов к нам, это естественно.

И все начинают покорно расходиться, а Нина Павловна, гордо выпрямившись, все еще стоит, словно продолжая выпроваживать посетителей одним

своим взглядом, и, может быть, именно поэтому излишне официально обращается к только что вошедшей Зое:

— Что у вас, Зоя Николаевна?

— У меня записка, — едва заметно усмехнувшись, говорит Зоя. — От отца.

— К Александру Максимычу?

Зоя протягивает листок:

— Нет, к вам!..

И пока Нина Павловна читает, Зоя, глядя на нее внимательно, словно на что-то решается:

— Вероятно, мы с матерью были всегда несправедливы по отношению к вам, — медленно говорит она, когда Нина Павловна поднимает глаза от записки.

— Вот как?..

— Нет-нет, это я, понимаете, это я так считаю. Ее не переубедишь. Да и зачем?..

И Нина Павловна очень просто и очень благодарно говорит:

— Спасибо, Зоя.

— Только я не успела с ним поговорить и не очень понимаю, зачем ему это надо?..

— Если он зовет его — надо!

— Значит, вы передадите ему просьбу отца, а провести его к отцу дома — это уже за мной.

— Спасибо, Зоя. Будем держать связь.

Было заметно, что обе они порываются сказать друг другу что-то еще.

Но Нина Павловна окликнула Зою лишь тогда, когда та уже шла к двери. Зоя обернулась.

— Спасибо! — сказала Нина Павловна и с видом отчаянной заговорщицы приподняла записку.

Зоя снова еле заметно усмехнулась, но усмешка эта была уже другая: а что, мол, нам остается — и мне, и вам?..

Конечно, намного позже, чем можно бы, но все-таки они вступили в союз.

Коттедж Ведениных.

Доктор Райх, прощаясь у выхода, говорит Эмме Борисовне:

— Снотворное Николаю Фадеичу мы завтра снова поменяем.

— Умоляю вас, опять совсем перестал спать!

Райх откланивается.

На улице яркий солнечный день, но Эмма Борисовна запирает входную дверь на замок и ключ опускает в карман своего халата.

— Дверь я на всякий случай замкнула, — говорит она дочери с некоторой долей вины, но вместе с тем достаточно строго. — Надеюсь, ключ тебе не нужен?

— Нет, мама, ключ не нужен.

— Не понимаю, как они на него не действуют, на отца? — пожимает плечами Эмма Борисовна. — Стоит мне принять ее, как я засыпаю уже на ходу... Закрывается дверь в ее комнату.

Зоя стоит на кухне, прислушиваясь, потом тихонько выходит на веранду. Снова прислушивается и начинает потихоньку открывать поскрипывающее морозцем широкое летнее окно.

И как только окно открыто, привычным широким махом — как через деревянный борт хоккейной площадки — на веранду ловко перебирается парень спортивного вида, с лицом, покрытым старыми шрамами, однако одетый не только без всякого пижонства, но даже несколько простовато. По всему видно, что, ожидая за окном, он изрядно промерз...

И вот они с Зоей уже в комнате Николая Фадееча, и снявший полушубок парень сперва греет руки у камина и только потом идет к старому директору, широкими пятернями берет сухонькую ладонь Веденина — это словно привычное пожатие рук на ледяном поле...

— Когда игра? — как всегда, с места в карьер спрашивает Веденин.

— Завтра, Николай Фадееч.

— Ну так вот. А послезавтра — надвигка домны. Чуешь, капитан?!

— Мы с ними всегда подзалетали, Николай Фадееч, — мрачнеет парень. — Всегда игра в одну калитку — только в нашу.

— Ну, так пора и сдачи дать?! Или вы — не гордые? Перетерпите?! А?! — словно испытывает Веденин.

— Трудно, Николай Фадееч.

— А было бы легко, я тебя и не позвал бы, — и Веденин весь подается к парню и уже не настаивает — горячо просит: — Пойми, капитан!.. Ну если мы в таком городе живем, что только одна у нас отдушина!.. Выиграли вы — и люди плечи сразу расправили... У нас на заводе неделю потом, Олег, — неделю! — сталь идет — только первый сорт! На шахтах вагонов не хватает — столько уголька ребята наверх выбрасывают! А?! А теперь — с надвигкой. Понимаешь, что люди в этот день на работу как на праздник должны идти?! А если вдруг продуете, а? Молчит хоккейный капитан.

— Передай хлопцам в команде — последняя моя просьба...

Совсем было опустивший голову Олег резко поднимает ее, начинает оглядывать комнату. Находит глазами портативный магнитофон, бросается к нему.

— Вот!.. Вы сами сейчас, Николай Фадееч, им скажете!

— Там сказка про железного рыцаря! — бросается к магнитофону Максим.

— А тебе потом клюшку подарю! — утешает его Олег. — Настоящую!.. Так, Николай Фадееч... Я включаю?

Веденин одной рукой привлек к себе внука, присел так, и это словно придало ему сил:

— К вам, сынки, знаменитая команда приехала... москвичи. Ну и что ж тут такого, а?! Сколько у них в команде наших-то? Кто в Сталегорске начинал? Перебежчиков, как народ-то говорит?.. Двое, да!.. А разве они капитана нашего не звали, а, Олег?.. Или тебя не манили, Коля Бедарев?.. Или тебе, Миша Григорьев, горы золотые не сулили... Или ты, Юра Заруцкий, чуть было тогда с ними не уехал — хорошо, что нашлись добрые люди, которые съезды сняли, а то бы они тебя, сыночка, так и увезли... Так что

Москва — она... Если мы у нее нет-нет да и не будем выигрывать, кто ее защищать потом станет, а?! Вот и надо ей нынче показать, что защищать ее мы всегда готовы... Надо выиграть, сынки. Такая моя к вам просьба... последняя, сынки, просьба!..

Речь Деда слушает команда уже в раздевалке...

Один, кого называет Веденин, как на перекличке приподнимает плечи и вскидывает голову... Радостно оглядывает других — и меня, мол, не забыл Дед! — второй... Благодарно и чуточку грустно улыбается третий.

— «И тебя прошу, Валера Смирнов!.. И тебя, Гера Жариков!.. И ты, Толя Окишев, постарайся, ты покажи им!.. А еще наш новенький!..»

И удивленно приподнимает голову — еще без шлема — тот самый парень, которого разыгрывали тогда в доменном цехе.

— «Михеев, да!.. Тебя как дома: Дима или Митя?.. Ты уж постарайся, Митя! Верю, сынок, что и ты не подведешь!»

Конечно же это после записанной на магнитофон речи Деда они и «колдуют», вставши перед игрою в круг и положив руки друг дружке на плечи, с особым значением... И громче обычного и будто решительней быют потом разом клюшками об лед, и стремительней разъезжаются.

Бурлит, взрывается парком из тысяч глоток, обрушивается криком и свистом открытый ледовый стадион — эта и в самом деле единственная отдушина большого индустриального города в Сибири... Мелькают разгоряченные лица тех, кого мы уже видели на заводе и на стройке, кого мы увидим там завтра, — хоккей в этом городе любят буквально все...

На равных идет эта до предела напряженная, грозная игра, но вот один из москвичей теряет клюшку, бросается было защищать ворота без нее, но поздно, поздно — новичок Михеев с подачи капитана «распечатывает» ворота гостей!..

Кажется, ничего не может быть радостнее, чем тот взрыв восторга, который сотрясает теперь трибуны...

Разгоряченный защитник гостей не успевает подбросить клюшку — ее уже поднял со льда капитан хозяев... И обиженный защитник, который по инерции все еще мчится на большой скорости, встречает Олега плечом в плечо:

— Отдай палку!..

— Я Дедову внуку пообещал... Максиму. А у вас они покрасивей, палки...

И среди всеобщего крика секунду стоит задумавшись игрок гостей — теперь-то ясно, что это один из «перебежчиков».

— Как сам Дед?..

— Говорят, последние деньки...

— А сказали, что приезжал к ребятам... С устачкой на выигрыш, а?

— А нам надо выиграть... У нас завтра в городе — работа!

Они уже развехались было, когда гость резко затормозил, круто повернул обратно:

— Тоже пацану отдашь. Внуку.

Снял шлем и протянул Олегу — бывшему когда-то своему капитану.

Стадион ничего не понял, но все почувствовал. И это все было: переломили!.. Наша возьмет!..

И снова в морозный воздух взлетел парок из тысячи глоток.

И снова — яростный бой, разгоряченные лица, визг льда под коньками, жесткие щелчки клюшек, хруст кожаных доспехов, мощный удар сильного тела в деревянный борт промерзшей «коробочки», и опять не то чтобы крик — единый стон радости на трибунах!..

Это надо когда-нибудь видеть — как расходятся со стадиона болельщики в таких городах, как Сталегорск, когда свои победили...

По одному не идут, валят толпами, валят рядами, и обгоняют друг дружку, когда катится этот сплошной вал гордой радости и здорового смеха, и забсгают вперед, чтобы тебя было хорошо видеть и ты тоже успел бы что-то такое выкрикнуть, пока тебя не сменит кто-то другой...

— Они ехали, думали, тут лаптем ши до сих пор хлебают!..

— Ну да, а в воротах медведь будет стоять.

— Дрессированный!

— А как Гера Жариков сегодня стоял?!

— Да что ты: не Герка, а скала!

— А новенький-то, новенький, видали?!

И может быть, тот самый парень, который в доменном цехе новичка Михеева разыгрывал, кричит теперь с такой гордостью, как будто в этом личная его заслуга:

— Да, это горновой наш — во парень!

— Первую закатил, а?!

— Да что ты — парень!.. Лишь бы они его не переманили!

— А если б вообще не переманивали?.. Вот бы можно команду, мужики!..

Все сильнее крутила над городом метель...

Словно вчерашний людской вал продолжал катиться теперь уже по строительной площадке, где, как великан на беговой дорожке, замерла новая домна.

Настал день надвижки. Ветренный, снежный день.

Метель то утихала на миг, и тогда видна была снизу доверху гигантская домна, от которой над роликовой дорожкой тянулось к большим лебедкам несколько десятков толстенных тросов, а то усиливалась, и тогда все тонуло в белой круговерти.

Над кольцом воздухоудвки висел на домне большой транспарант: «Ну, Запсибовна, поехали!»

И монтажная площадка домны, и все расстояние до рабочей ее площадки — вся зона надвига была окаймлена канатами с красными флажками, и за ними толпилась масса народу — ждали, когда уберут стопоры, когда мощные домкраты подтолкнут новую домну и она тронется по своей «беговой дорожке». Тоже, видите ли, болельщики.

Не меньше народа было внутри ограждения, около домны: и монтажники со своими инженерами, и горновые, и строительные да заводское начальство, и кинохроника с фоторепортерами, и общественность, и еще неизвестно кто.

Пожалуй, монтажная площадка чем-то напоминала стадион, где вчера выиграл «Металлург»... По крайней мере, в приподнятом настроении людей, снующих вокруг, это заметно чувствовалось — недаром же от ватажки монтажников, по-бурлацки тащивших туго натянутый трос, один вдруг оторвался, изобразил удар клюшкой с разворота, что-то крикнул, тут же вцепился в трос, и все навалились еще дружнее...

Руководство завода кружком стояло вокруг представителя министерства Полосухина.

Вели неторопливый разговор о погоде, поглядывали то на лебедки, а то на домну.

— Как бы погода и в самом деле не подкачала.

— Да, метель нынче совсем ни к чему...

— Синоптиков, конечно, запрашивали? — спросил Полосухин.

— В обязательном порядке, — ответил Перчаткин.

— И они, конечно, обещали ясный солнечный день?

Над площадкою надрывался динамик: «Дежурных на проходах в зону надвига доменной печи просим усилить контроль... Надо, товарищи, быть построже. Лицам, не имеющим пропусков в зону надвига, предлагаем немедленно покинуть монтажную площадку... Тех, у кого есть пропуски, просим быть повнимательней. Отойдите, товарищи, от путей надвига, не мешайте работе монтажников...»

Полосухин посмотрел на часы.

— Сейчас нам монтажнички расскажут, как дела! — кивнул Брагин на подходившего к ним Васильева в прорабском брезентовом плаще поверх полушубка.

— Что-то вы и в самом деле задерживаетесь. — негромко сказал Перчаткин подошедшему. — Обещали начать в четырнадцать, а скоро шестнадцать, вот вот уже темнеть начнет.

— Петр Игнатьич никак не переобучется, — сказал этот, в плаще.

Перчаткину показалось, он не расслышал:

— Что-что?

— Бригадир монтажников. Петр Игнатьич. Он пока не переобучется, мы ни один подъем не начинаем... А тут что-то очень долго...

Брагин усмехнулся:

— В каждом деле свои гиганты мысли! — и крунул пальцем около виска.

— Почему же? — возразил Полосухин и обратился к начальнику монтажников: — А можно на него хотя бы одним глазком?

— А почему нет?

И все потихоньку двинулись вслед за Васильевым.

В просторном тепляке на длинной и широкой лесовой скамейке сидел пожилой человек в шерстя-

ных, домашней вязки, носках, держал в руках сапог с застежкой на голенище, задумчиво рассматривал. Второй сапог стоял у ног его на полу, а на скамейке лежали телогрейка, шапка, монтажная каска, подшлемник. На столе в пол-литровой эмалированной кружке исходил парком чай.

Напротив него сидел другой монтажник, покурил. Мирно текла беседа.

— У меня вот по материнской линии один из дедов — не родной, правда, двоюродный — тоже сапожник был... Он рассказывал: встречает, говорит, его на улице заказчик — купец подвыпивший... Это еще в старое-то время. Встречает и, значит, кулачищем своим прямым адресом — в Харьковскую губернию, в город Мордасы!.. Дед: за что, мол, кричит?! Неужто плохие сапоги сшил?.. А тот: да нет. Не потому, что плохие, а потому, как слишком вышли хорошие: носить надоело, а выбросить жалко!.. Какая была работа!

— А другой случай возьми,— начал было второй.

Но тут распахнулась в тепляке дверь, вошел начальник монтажников, а вслед за ним и Полосухин, и остальные заводчане.

— С тобой, Петр Игнатьич, товарищ из министерства хочет познакомиться.

— А-а,— протянул тот равнодушно, но глянул на Полосухина оценивающе. — Тоже ничего... из министерства.

— Когда, Петр Игнатьич, начать думаешь? — сказал Васильев.

— Да я вот соображаю: отложить, может?.. Навдвину?

— Погода? — понимающе спросил Перчаткин. — Метель?

— А что нам погода? — переспросил бригадир. — Тут другая забота... Думаю, фундамент под роликками все же не выдержит.

На лице у начальника монтажников промелькнуло: Петр Игнатьич в своем репертуаре, мол. Знаем мы эти штучки.

Но Полосухин насторожился:

— Это почему же, любопытно?

Однако старый монтажник был, видимо, из тех, кто любит сам задавать загадки, а не отвечать на них. Показывая пальцем на окошко, сказал неторопливо:

— А ты вот, мил человек, из министерства — ты глянь-ка на площадку повнимательней, да потом и пораскинь-ка хорошенечко: почему?!

По заснеженному шоссе за городом мчится «Волга». Рядом с водителем Валерой сидит явно расстроенная чем-то Эмма Борисовна.

Вдруг она словно на что-то решилась:

— Остановите, Валерий!

Они остановились.

— Поехали обратно!

— На дачу? — удивился он.

— На дачу, да. И поскорей!

— А кто же этого врача встретит?.. — и он смотрит на часы. — Самолет уже вот-вот!

— Ничего-ничего!

Валерий явно тянет:

— Человек из Москвы как-никак... знаменитый доктор.

— Там есть кому встретить его, Валерий!.. Поворачивайте!

Машина не заводилась. Водитель вышел, открыл капот. Но в мотор он, однако, не заглядывал. Укрывшись за поднятым капотом, снова посмотрел на часы, и по лицу его было видно, что он над чем-то размышляет...

— Плохо дело,— сказал, вернувшись в кабину. — Боюсь, что она не заведется.

— И нам тут придется всю ночь куковать?

— Вообще-то по этой дороге мало кто ездит.

— Та-ак! — сказала Эмма Борисовна таким тоном, что ясно было: оправдываются ее худшие подозрения.

— Это я уж по старой памяти хотел тут проскочить,— миролюбиво говорил водитель, и непонятно было: то ли это обстоятельство огорчало его, то ли почему-то радовало. — А так сюда и палкой никого не загонишь...

Она посмотрела на него испытующе:

— А если я дам слово, что я не стану мешать?..

— Николаю Фаденчу? — поймался Валера.

— Заговор! — всплеснула она руками. — Самый настоящий заговор!.. И против кого?.. Кто всю жизнь был с ним рядом, кто пытался, как мог... Заговор! И вы, Валера, кому я всегда безгранично верила, — и вы с ними тоже заодно!..

— Я с Николаем Фаденчем заодно. И больше ни с кем.

— Даю вам самое благородное слово! — сказала она чуть торжественней, чем надо бы, и все-таки достаточно горячо и искренне. — Я только прослежу, чтобы они его одели как следует!.. Чтобы захватили все лекарства... И тогда я буду спокойна!.. И тогда вы снова можете везти меня хоть в аэропорт, хоть на этот пустырь... прошу вас, Валерий!

— Вы дали слово...

— Да!

Он вздохнул, покачал головой: мол, тоже есть резон в том, что говорит Эмма Борисовна — жена все-таки!..

И машина тут же завелась и стала разворачиваться на пустынной дороге — только Валера нет-нет да и поглядывал опасливо на Эмму Борисовну: не обведет ли она его вокруг пальца?! Не обманет ли?

К коттеджу Веденина, около которого, постреливая дымками выхлопов, стояла другая «Волга», они подъехали, когда сборы здесь были в самом разгаре.

Зоя с Райхом помогли одеться Веденину, а Нина Павловна укутывала Максима. Он-то и увидел первым Эмму Борисовну:

— Атаа!..

Дедова школа.



Все они замерли, словно застигнутые на месте преступления виноватые школьники...

— Но ведь я тебе специально везла из города другой костюм, Коленка! — с громким укором сказала Эмма Борисовна, раздеваясь на ходу, и первым делом подошла к шкафу, выдернула из него вешалку с пиджаком, на котором конечно же висела Звезда Героя Труда.

Над чем другим, но над этим Веденин, ясное дело, не задумывался и теперь покосился на Райха: что ты, мол, с нею будешь делать?..

Райх незаметно подмигнул ему: пусть!..

И пока Веденин с помощью дочери надевал этот пиджак, Эмма Борисовна продолжала свой инспекторский смотр.

— А носки?! Зоя, неужели нельзя было догадаться? А зачем достали новые валенки?.. Неужели непонятно, что в растоптанных будет удобней? А варежки в карманах?!

Но вот все одеты. Все, кроме Эммы Борисовны.

И всем вдруг снова становится неловко.

— По вашему плану, как я понимаю, кто-то должен был здесь остаться, — говорит Эмма Борисовна, явно довольная сейчас и своею ролью, и тем, с каким достоинством она ее исполняет. — Чтобы сказать, если спросят: Николай, мол, Фаденч попросил его не беспокоить... Я все правильно понимаю?!

— Все правильно, мама, спасибо, — начала Зоя.

— Остаться должна была я, — сказала Нина Павловна тоже чуть-чуть виновато. — Зое Николаевне надо быть на площадке — там в эту махину лаборатория понаставила датчиков... Ей надо... А я могу остаться, Эмма Борисовна. Может, вы поедете вместе... вместе со всеми?

— Мое место всегда было здесь! — в голосе у Эммы Борисовны слышалась сейчас неподдельная горечь, но голову держала она высоко, смотрела гордо. — И я побуду тут, не волнуйтесь. Я все, что надо, скажу...

— Ты извини, мама, — опять начала было Зоя. Но Эмма Борисовна только поправила воротник на шубе у Веденина.

— Смотри не простудись! — дотронулась до шарфа на шее у Максима и обернулась к Райху: — Поглядывайте за моими мужчинами, Виктор Карлович, прошу вас!

Может быть, доктор Райх чувствовал себя сейчас виноватым больше, чем все другие?.. Теперь его словно прорвало:

— Нет-нет, что вы!.. Я только потому и согласился поддержать эту безумную, с моей точки зрения, затею, чтобы самому... лично, понимаете?.. Лично за всем проследить. Нет-нет!.. Не беспокойтесь!.. И я должен вам сказать, что вы... что вы сегодня... Это не комплимент для женщины, но вы, Эмма Борисовна, вы мужественный...

Все уже выходили, поддерживали Веденина, подталкивали, чтобы не мешался, Максима, и Райх, не договорив, поцеловал руку Эммы Борисовны и бросился помогать остальным,

За окном взревел мотор, резко взяла с места «Волга».

Эмма Борисовна туда и сюда прошлась по комнате. Ее знобило. Накинула платок и села у камина, с тумбочки рядом взяла книжку. Открыла наугад и, борясь с подступающими слезами, вслух начала читать:

— «Так прошло лето и наступила холодная осень... И когда старый сэр Томас окончательно решил, что он умирает, он велел посадить себя у камина, собрал вокруг себя многочисленных своих домочадцев и сказал им: вот вам мое завещанье...»

И Эмма Борисовна горько заплакала.

А отчаянно-веселый Веденин шагнул через порог тепляка, в котором все еще переобувался старый монтажник.

— Говорят, Игнатъич, смущаешь народ, а?.. Фонда-а-мент не выдержит!

— А ты в окошко, Николай Фаденч, поглянь! — тоже весело жалуется монтажник, явно довольный появлением Веденина, с которым можно поговорить по душам. — Разве проектировщики на такую толпу рассчитывали?.. Вон сколько народу без дела на площадке толкается. И худеньких, скажу я тебе, нету, а все — под центнер!.. Только что перед тобой один из министерства заходил: центнер с лишком, я так прикинул!

— Значит, помощь тебе требуется?

— Дак если б можно бы их всех куда с глаз подальше!

С видом заговорщика Веденин спрашивает:

— Полчасика на это дело мне даешь?

На широких скамейках в тепляке уже сидели и Максим, с которого Зоя успела стащить шубку, и Виктор Карлович со своим докторским саквояжем.

Раскрылась дверь, и, пропуская вперед Нину Павловну, в тепляк вошел радостный Ступин.

Веденин, не здороваясь, достал из кармана шубы бумагу:

— Почитай-ка!

Тот побежал по бумаге глазами, почти тут же оторвал их:

— Мне говорили об этом акте.

— А-акт! — сказал Веденин насмешливо. — Дуля в кармане, а ты — а-акт!.. — и потряс бумажкою. — Нравится?..

— Нравится, — твердо сказал Ступин. — Теперь, по крайней мере, все ясно.

— А до этого ты еще сомневался? — издевался Веденин.

Вошел Брагин, бросился к Веденину:

— Николай Фаденч!

— Времени в обрез, — сказал Веденин, протягивая ему бумагу. — Давай без нежностей.

— Знаю! — откликнулся тут же Брагин.

Веденин посмотрел на Нину Павловну.

— У них хорошие секретари, — чуть грустно улыбнулась Нина Павловна.

— Ну а если вы в курсе, за чем остановка? —

как о деле, давно решенном, заговорил Веденин. — Ступин останется на площадке. Не потому, что он хороший, а Брагин плохой, нет. Потому что это надо для дела — он начальник цеха... Брагин поедет вместе со всеми в дом отдыха водку пить. Не потому, что он опять же плохой, а Ступин хороший — для дела так будет лучше. Директора ты своего поддержишь, Перчаткина... Ему пока не говорите. Врать, слава богу, не умеет и будет мучиться... И на лице у него все будет написано. Но ты его, Брагин, поддержи, это твое дело, как, но — крепко!.. Вопросов нет?.. Начали!

В другом тепляке, почище и попросторней — тут разместились штаб надвижки, — грелись горячим чайком озябшие на морозе инженеры, руководители монтажников, заводское начальство, представители городских властей.

С подносом, на котором в дорогих подстаканниках стояли хрустальные стаканы, бесшумно двигалась вокруг широкого и длинного стола молодая женщина в белом переднике и с кокошником.

Вошли трое: Брагин со Ступиным и с ними Васильев — в прорабском брезентовом плаще поверх овчинного полушубка. Ступин с монтажником сели напротив Полосухина, а Брагин, бесцеремонно кого-то отгеснив, пристроился с тем рядом.

— Датчики внутри печки показали небольшой наклон по горизонтали, — словно ни к кому в отдельности не обращаясь, сказал Ступин.

Все вокруг смолкли.

— Что это может означать? — спросил Полосухин.

— Либо то, что под сильным ветром увеличился вес сооружения... — хмуро начал Васильев.

— Либо то, что ваши датчики ни к черту не годятся и нечего их было в печку засовывать! — насмешливо сказал кто-то из инженеров.

— Вышли из строя, да и все!..

— Все сразу?! — жестко спросил Брагин. — Вышли из строя? — и почти незаметно наклонился к Полосухину, тоном опытного царедворца негромко сказал только для него одного: — Я бы на твоём месте...

— В принципе все в наших руках, товарищи! — как можно спокойней проговорил Полосухин. — Давайте будем советоваться.

— По-моему, мы с самого утра только тем и занимаемся! — насмешливо и теперь уже громко сказал Брагин.

Пошел разговор:

— Плохо, ветер крепчает...

— По сводкам или так, на глазок?

— А ты представь себе этот стальной парус весом в четырнадцать тысяч тонн...

Кто-то вытащил из кармана шариковую ручку, кто-то достал микрокалькулятор.

— А что нам в самом деле мешает отложить надвижку до утра; если в светлое время мы его так и не начали? — снова твердо спросил Брагин.

— Все в наших руках, — снова спокойно проговорил Полосухин.

— А какая разница — светлое время?.. Темное? — высказал кто-то сомнение.

— Немаловажная! — усмехнулся Брагин. — На базе отдыха пельмени остывают.

Кто-то в предвкушении потер ладони:

— Это меняет дело!

— Приглашай, Александр Максимыч, не скупись! — наседали Брагин. — Так или иначе собирались там ужинать, а утречком начнем, помолясь...

— Прошу, Вячеслав Дмитрич, — выдавил из себя Перчаткин. — Пока тут разберутся с показаниями датчиков... Прошу всех по машинам.

Все встали, и Брагин, словно в чем-то поддерживая Перчаткина, крепко взял за руку повыше локтя, потерял плечом и, может, впервые за многие месяцы посмотрел на него с открытым дружелюбием и вместе с тем с каким-то — тоже дружеским — значеньем в глазах...

И этот непробиваемый обычно Перчаткин тоже вдруг словно что-то почувствовал...

Веденин с Петром Игнатъичем смотрели в окошко тепляка, как рассаживается по машинам многочисленное начальство, как трогают одна за другой черные легковые машины, как исчезают они в снежной дымке...

— Обещал я тебе? — не без хитрецы и вместе с тем не без нарочитой гордости спросил у монтажника Веденин

— А я уже, Фаденч, переобулся! — вместо ответа сообщил тот и качнулся с носка на пятку — словно пробовал, крепко ли стоит на земле. — Мальчишонку берем с собой... пусть посмотрит, это не каждый день!.. Все, Фаденч, пора!

И вот уже Петр Игнатъич стоит посреди притихшей площадки и словно прислушивается и к себе самому, и к чему-то, что происходит вокруг, и к чему-то, что только еще должно произойти...

Что ж, что на нем ватные штаны и старая телогрейка — сейчас он похож на опытного дирижера, на старого хорового регента...

Взмах левой, в сторону домны, и монтажники не торопясь убирают стопоры, которые не давали ей стронуться...

Взмах правой, в сторону лебедек, и тросы вздрагивают и постепенно начинают натягиваться...

Тихо-тихо вокруг.

И вдруг над толпой, которая стоит рядом с печкою, разом взлетает вверх большой меховой треух, и кто-то кричит очень громко и очень радостно:

— Па-ашла-а-а!.. Па-ашла, бра-а-тцы!..

И уже несколько десятков самых разных шапок летят вверх, и слышны десятки голосов:

— Стопоры убрали, токо тросы натянули — она, как миленькая!..

— Без домкратов тронулась, а?!

— Проспорил, братцы!..

— Такая машина, а как бычок на веревочке!..

— Слушай, а как мы им вчера врезали, а?!

И еще один трюх запоздало взлетел в воздух. Упал потом к ногам Петра Игнатьича. Не отвлекаясь, он только посильней натянул свою шапку. Стоял, вглядываясь куда-то в основание гигантской печки, и рукой без перчатки тихонько словно подманивал ее к себе, подманивал...

Наконец-то и Максиму удалось развязать узелок на своей шапке. Стащил и бросил куда-то за себя, чуть было не сбил очки с носа доктора Райха. Всем миром бросились подбирать шапку, надевать на мальчонку. Только укутали шею, только чуть успокоились, он содрал шарф со рта, громко закричал:

— Деда, дай мне скорее много денег!.. Дай денег, деда.

Веденин, которого поддерживали Зоя и Ступин, наклонился к внуку, не без удивления спросил:

— Зачем тебе деньги?

Захлебываясь от возбуждения, Максим тянул руку к толпе, которая суежилась у самой полосы на движки.

Там ребята-монтажники подкладывали под ролики, по которым скользила печь, медные и серебряные монетки, потом выхватывали их уже с другой стороны роликов, уже расплющенные, овальные...

Дед растерянно похлопал себя по карманам, но его выручил Ступин. Протянул мальчишке металлический рубль.

Вдвоем шагнули поближе к роликам. Страху мальчишку, Ступин подождал, пока расплющится рубль.

Максим бросился к деду, разжал кулак:

— А, деда?! А?!

Снова зажал раскатанный рубль и сунул кулак под пальтишко.

Полосухин и Перчаткин одевались около вешалки в небольшой прихожей банкетного зала в доме отдыха металлургов.

На миг приоткрылась дверь в зал, где за уставленным яствами длинющим столом весело и шумно, в прихожую вышел Брагин.

— Значит, все-таки решили побеспокоить Николая Фаденча?

— Пожалуй, это нехорошо с моей стороны, если бы не сделал попытки повидаться с ним,— сказал Полосухин.— Можно — можно, а нет — нет, но побывать рядом и хотя бы не справиться о здоровье... Мало ли что когда-то...

— Кто старое помянет,— примирительно развел руками Перчаткин.

— Слушай, а что это на тебе пальтишко продувное какое-то,— и Брагин озабоченно и дружелюбно потрогал и рукав, и плечо.— Надо будет сказать Маше, чтобы она за тобой приглядывала... не протудишься?

И Перчаткин, хоть он ничего не понимал, тоже ненароком коснулся плеча Брагина:

— Побудь пока с ребятами... Побудь,

Вдвоем Перчаткин и Полосухин шли по той самой аллее, по которой прогуливались обычно Веденин с Райхом и Максим с лошастью.

— Мое дело сообщить тебе, дружище, что в министерстве имеют виды на тебя,— расслабленно говорил Перчаткину Полосухин.— А решать, естественно, это уж твое дело... Одно могу сказать: сейчас, пожалуй, самое время... Имею в виду: решать.

Потом стояли у веденинского коттеджа, и Перчаткин старательно нажимал на кнопку звонка...

Вышла Эмма Борисовна, довольно удачно изобразила и удивление, и радость, но приглашать их не стала:

— Поймите, Вячеслав Дмитрич, режим есть режим...

— Да-да, конечно, здоровье — прежде всего...

— И потом, он сейчас просто-напросто спит.

— Передайте, когда он проснется, и нижайший поклон... от одного из учеников. И самые добрые слова.

— Непременно передам! — держалась она, как в лучшие свои времена.— Непременно!

Веденин и в самом деле спал.

Спал на полушубках и ватниках, брошенных на широкую скамейку в тепляке у монтажников. В ногах у него с кружкой чая в руке сидел Виктор Карлович.

На такой же скамейке у противоположной стены сладко посапывал Максим, сжимавший в кулаке свой расплющенный металлический рубль, и около него, тоже с чайком в руках, сидела Зоя, а за столом, на котором стоял «артельный» алюминиевый чайник, расположились Нина Павловна, Ступин и Васильев — даже здесь, в наполненном жаром от раскаленного «козла» вагончике, он не снял своего спрятанного под брезентовым плащом козуха, а только расстегнул пуговицы.

— Ты как цыган! — сказал ему, трогая полу козуха, сидевший рядом Ступин.— Холод ли, жара ли...

— А я и есть цыган! — рассмеялся Васильев.— Разве нет?.. На Кольском я был на монтаже, в Норильске был... в Джекказгане. В Караганде. В Петропавловске...

— В Казахстане?

— Нет, на Камчатке.

— И я — цыган! — задумчиво сказал Райх.

— Вы-то почему? — усмехнулся Васильев.

— Когда мне было два года... всего два!.. отец увез меня из Германии в Соединенные Штаты. Из Вестфалии в Западную Вирджинию... А когда было десять, мы приехали в Сибирь. Отец записался тогда в АИК — автономная индустриальная колония... она так и называлась «Кузбасс», вы слышали?..

— Так вы, выходит, американец? — чему-то обрадовался Васильев.

Старый врач печально сказал:

— Я — цыган!.. Я потом всегда — вслед за ним.

И глянул на спящего Веденина, и всем вдруг стало понятно, отчего Райх так грустно об этом говорил...

Вошли облепленные снегом Петр Игнатьич и молодой монтажник, совсем мальчишка, стали отряхиваться, и старик сказал чуть ли не в сердцах:

— Ума не дам, что оно творится!

Хорошо знавший своего бригадира Васильев заранее усмехнулся:

— Чем нас хочешь порадовать?

— Идет, ты понимаешь, и идет!.. Что ты с ней будешь делать?!

— Сама идет? — шурился Васильев.

— Да прямо-таки сама!

— Смотри хорошенько, чтобы она у тебя дальше не прошла!

Петр Игнатьич подсел к столу, налил чайку сперва монтажнику, потом себе, заговорил так, будто к своему гораздо младшему по возрасту начальнику он, как мальчишка, ластится:

— Нет, правда?.. Может, плюнем на этот график? Она ить не черепаха как-никак, тут тоже надо понять, а — домна!.. Вот он — главный теоретик у меня по этому делу. По этой самой надвигке курсовой проект защищать будет...

— Это где же? — спросил Васильев, хоть по лицу видать было, что все-то он, конечно, знает, просто играет сейчас, как говорится, на публику...

— Техникум вечерний, — послушно отозвался монтажник. — Второй курс.

— А ты, Петр Игнатьич, уверял меня, что он у тебя — толковый парень! — с укором обернулся к бригадиру Васильев.

— А почему-ка нет?! — насторожился Петр Игнатьич, и по тому, как он поглядывал на Васильева, было видно, что эти двое так давно уже спелись.

— Да потому, что толковые ребята в Москве, — словно отрезая что-то, покачивая пальцем Васильев, — домену нашу в глаза не видели, а уже кандидатские по надвигке защитили!.. А он у нас, можно сказать, при ней вырос, а — курсово-ой!.. Техникум! — и Васильев вроде бы безнадежно махнул рукой.

Но Петр Игнатьич все понял:

— Ну, спасибо тебе, что разрешил!

И тут в тепляк вошли Беловой со своим шофером — тоже с головы до ног в снегу.

— Вот они, голубчики! — ворчливо сказал Беловой, пытаясь расстегнуть пуговицы на пальто. — Все тут! Чайку нальете?.. Лег спать и не могу уснуть... Чует душа: что-то не так, нет!.. А потом, вы верите, словно бы вдруг виденье какое...

— Никого постороннего? — рассмеялся, оглядываясь, Васильев — А то что ж это происходит: такая должность, можно сказать, у человека, и вдруг — душа!.. Виденье!..

Озябший Беловой, молча переводя все понимающий взгляд с одного на другого, грозил пальцем...

Васильев начал застегивать кофуж:

— Ну что, главный теоретик, пошли ломать график!

И вот уже над ярко освещенной площадкой опять летят вверх, в косую метель, ушанки, и опять кричат люди друг другу что-то радостное, и хроника

снимает, судя по всему, последние «геронческие» кадры, и радиокорреспондент с тяжелой сумкой на боку, обращаясь к монтажникам, почти кричит в микрофон: «Что вы могли бы вот сейчас... в эту радостную для всех минуту... сказать об этих ста шагах? Об этом общем подвиге?»

Подносит микрофон поближе к губам Петра Игнатьича, который стоит в окружении своих хлопцев, и тот пожимает плечами:

— Однако, что сказать?.. Должна была проехать, она их и проехала, сто шагов-то... Куда ей деться? На то у нас и инженера, и вот мы, конечно...

— Ну, а какое самое яркое ваше впечатление за эти последние сутки? — снова свойски-торжественным голосом спрашивает громко корреспондент. — За эти последние два дня?

— Это — пожалуйста! — рассудительно говорит старый монтажник. — Это вот, как наши шайбу самую первую засадили. Новенький наш...

— Михеев! — громко подскочил кто-то, и остальные одобрителем загнули.

— Михеев, да! — согласился Петр Игнатьич. — До сих пор душа праздник празднует!

И рука с микрофоном невольно упала вниз — разве это надо миллионам радиослушателей, ну разве это?!

Рядом с площадкою надвига останавливались легковые машины, открывались дверцы, выбирались наружу те, кто уехал вчера в дом отдыха есть пельмени.

Растянувшейся во главе с Полосухиным цепочкой не очень уверенно шагали они к ставшей на новое место домне, когда перед ними показалась шедшая уже от нее другая группа — старый Веденин в этом странном окружении: кроме Ступина с Васильевым, кроме Белового здесь были и Райх с его неизменным саквояжем, и Нина Павловна с Зоей, и маленький Максим.

Ступин с Васильевым поддерживали директора под руки, но теперь, увидев идущих им навстречу, Веденин приподнял голову, расправил плечи, и оба они невольно отпустили его, Веденин пошел один.

Не замечая Полосухина, остановился перед Перчаткиным, сказал сердечно:

— Поздравляю, Александр Максимыч!.. Красиво она стала. Как там и была — никуда ни на градус... поздравляю тебя, директор!

Потянулся к Перчаткину, чтобы обнять, и тот шагнул навстречу, бережно поддержал Веденина.

А вокруг них было это словно отторгавшее Полосухина, словно защищавшее Веденина кольцо из дорогих ему и близких людей, каждое движение которых — чтобы чуть ли не грудью заслонить Деда — словно освящали два давних его соратника: потомок интернационалистов-«анковцев» Райх и этот уже тоже стареющий парткомовский секретарь Беловой...

— Все, что должен был, — подчеркнуто сказал Веденин, — я министру написал... Нина Павловна отправит письмо. А это тебе — на память! — он достал из кармана бумагу, протянул Перчаткину. —

Чтобы не расслаблялся... Чтобы помнил, с кем нам часто в одной упряжке тащить приходится. И кто... куда ее на самом-то деле тащит!..

Он слегка пошатнулся, и его опять взяли под руки.

— А теперь все. Сталь хочу посмотреть... один!

— Николай Фадеич, возьмите! — словно разрывая круг, бросился к нему Брагин. — Как сталевар сталевара, дайте я покажу!.. — и обернулся вдруг к Перчаткину: — Поймешь, Александр Максимыч?.. Не обидишься?

Тот приподнял слегка обе руки: какие, мол, дела!

И Брагин уже командовал сначала Ступину, потом Васильеву:

— Позвони в цех! Скажи, чтобы освободили грузовой лифт и спустили вниз!.. Заберу твой «газик» — «Волга» в лифт не войдет!

Еле сдерживающий себя Райх негромко, но непривычно жестко для него сказал Перчаткину:

— «Скорую помощь» к цеху! Срочно... И машину «реанимации».

У грузового лифта, внизу, в конверторном цехе остановились несколько машин, и Брагин почти перенес Веденина из «Волги» в «газик». Суетились вокруг и шоферы, и женщины с Райхом, и Беловой.

Открылись широкие двери лифта.

Шофер Васильева пошел к своему «газику», но Брагин догнал его, вытащил почти из-за баранки, собрался было уже сесть сам, но в это время отчаянно закричал Максим:

— Деда, а я?

И Брагин бросился к мальчику, взял на руки, прижал к себе и уже шагнул было к машине, но почему-то вдруг остановился, молча смотрел на Зою, пока она, дрогнув лицом, не подтолкнула его к «газику».

Он осторожно усадил Максима на заднее сиденье. Через другую дверцу в машину деловито влез Райх, сел рядом с мальчиком.

Потихоньку въехал «газик» в лифт. Сомкнулись за ним двери.

А к лифту уже примчалась, уже затормозила, качнувшись, машина «скорой помощи». Послышалось зазывание сирены, мелькнула неподалеку синяя мигалка «реанимации»...

Открываются двери лифта наверху, и «газик» выезжает на рабочую площадку конверторного цеха, туда, где пламя и гул. Медленно, как будто бы даже торжественно катит он мимо черных переплетений стальных ферм, мимо разогретых и огнем, и жаркой работой мощных агрегатов — одни из них величаво неподвижны, другие, не торопясь, как бы с достоинством, проплывают мимо. Брагин то сидит за баранкою, выпрямившись, а то вдруг хищно наклоняется к ней — уж он-то хорошо знает, какая их тут на каждом шагу подстерегает опасность...

«Газик» замирает недалеко от поигрывающей бликами гигантской «груши» конвертора Громадный, под стать ей, совок с грохотом опрокидывает в жерло

черную грудю скрапа, и «груша» словно взрывается изнутри, вверх летят яркие ошметки огня, поднимаются длинные языки дымного пламени.

Как зачарованный смотрит на это зрелище Веденин, и по непрерывно меняющемуся выражению его лица понятно, что ради этого он сюда и приехал — ради этой и горькой, и радостной для него, ради самой последней встречи...

Словно под крыло птицы, спрятался под руку Райха Максим, во все глаза смотрит на это доселе невиданное им зрелище... А «газик» подкатывает к другой «груше» — она слегка наклонена, и из ее жерла пышет малиновый жар. В этом гуде и грохоте, в котором, кажется, даже вблизи невозможно хоть что-нибудь слышать, Брагин подает знак одному из сталеваров: наклонить «грушу» еще чуть-чуть. Тот нажимает кнопку на пульте, которая есть тут, внизу и тысячеконная машина послушно клонится ниже, а сталевар — молодой, лет двадцати восьми парень — подходит к «газику» с той стороны, где сидит Веденин, и сдержанно, с чувством собственного достоинства, понимающе улыбается ему и, может быть, неожиданно для себя самого снимает каску, но голову при этом приподнимает еще выше, встряхивает длинными кудрями и замирает с каской в руке, но Веденин, слегка улыбнувшись в ответ, тут же строже глазами и приподнимает палец: мол, надень, не то это место, где можно стоять с непокрытой головой.

А Брагин жестом приказывает: свали конвертор еще чуть-чуть.

Сталевар уходит, кивнув, и снова клонится «груша» — сквозь дрожащее марево теперь уже совсем хорошо видно, как внутри нее клокочет розовато-белый, с синими язычками, жидкий металл.

И вдруг поднимает слабую руку Веденин: еще чуть-чуть!

И черная, с зияющим жерлом, туша конвертора покорно подается книзу... Человек ли кланяется огню? Огонь ли преклонился пред человеком?

А может, это только так кажется, что он давно покорился нам, а на самом-то деле он беспрестанно сжигает и сжигает нас... вот сейчас догорит и еще один. Догорает Веденин. Догорает Дед.

Но догорают ведь только те, кто вообще обладал этой способностью — гореть.

«Газик» снова трогается к жерлу и тут же замирает. Трогается и замирает опять. Теперь он так близко от огня, что, торопливо пробежавший по своим делам пожилой сталевар посчитал нужным дать круг, чтобы жестами предупредить водителя: понятно, мол, ты отчаянный парень, раз неизвестно зачем сюда заехал, но, смотри, мотор так и пыхнет, от машины ничего не останется!

Кажется, что Брагин не видит пожилого сталевара, но все же кивает: понимаю, мол.

И еще короткий рывок поближе к полыхающей огнем, булькающей взхлеб, тяжело клокочущей «груше»... Может, это вовсе не жерло конвертора — жерло вулкана... Или это бушует яростная магма какой-либо затерянной в огненном мирозданье другой планеты?

Во все глаза глядит на гудящий огонь Веденин и вдруг с силой смежает веки...

Ясный солнечный день. Еще стоит зима, но по всем признакам видно, что властвовать ей осталось совсем недолго... Так белы березы вокруг веденинского коттеджа. Такое глубокое и такое синее опрокинулось над ним небо.

А под ним — самые земные заботы.

Около коттеджа стоит тяжелая грузовая машина с открытым задним бортом. Двое грузчиков помогают Зое и Эмме Борисовне укладывать вещи.

Вот подают наверх большой, неумело связанный узел, вот картонную коробку, перетянутую шпагатом одну и другую стопу книг... Вот из дома вынесли красный хоккейный шлем, вот протянули в кузов длинную клюшку.

Придерживая карман, быстро выходит из двери на улицу Максим и почти тут же громко свистит. Эмма Борисовна тянет вслед руку, хочет что-то сказать ему, но Зоя останавливает мать.

Сунув руки в карманы и приподняв плечи, мальчик одиноко идет по аллее. Идет и идет.

Смотрит ему вслед старый дворник, качает головой, прислоняет черенок лопаты к березе, закуривает.

Около коттеджа останавливается «Волга», выходит из нее сидевший за рулем Брагин, на ходу подхватывает коробку, которую несла Зоя, с маху подает в кузов.

И тут слышится громкое обиженное ржанье лошади: как она ни пыталась, на волю не выбраться...

Снова уверенно свистит вдалеке Максим, снова, не останавливаясь, идет себе по аллее.

Кто на машине, а кто внизу, все они стоят, смотрят мальчику вслед, и в это время снова слышится и норевистый храп, и — уже освобожденное — радостное ржанье.

Лошадь догоняет мальчика, привычно пристраивается с той стороны, где у него набит сухариками карман, и он тут же угощает ее, и она в ответ выставляет переднюю ногу, укладывает на нее голову...

Мальчик бросается к ней, обеими руками пытается приподнять шею и, когда лошадь привстает, сердито топает ногой, горячо жестикулирует и, наверное, говорит ей что-либо строгое.

И дальше они идут по аллее рядом, как бы уже на равных: лошадь, которая — так уж получилось — всю жизнь только и знала, что кланялась, и маленький мальчик — внук человека, который всю жизнь только работал и никогда не кланялся...

## ГЕНЕРАЛЫ МИРА

Нарушаю я наши моральные нормы!..

В ресторане или в самой затрапезной пивной, когда возвращаюсь из зала к вешалке, начинаю искать в кошельке пару серебряных монет, а если в нем, случается, пусто, то хотя бы одну, и вручаю вместе с номерком гардеробщику...

За ту коротенькую минуту, пока он ищет пальто, у него словно возникает ощущение давнего знакомства со мною, и потом, когда поможет одеться, он обязательно и поправит заботливо воротник, и еще зачем-то задержит на моих плечах ладони... Или на секунду приостанавливает торопливый бег моей памяти? Или на что-то благословляет?..

Но как ты его приостановишь? И на что ты меня благословишь?

«Спасибо, отец!..»

И с поникшею головой иду к выходу, и портфель несу не в левой, как обычно, а в правой руке, потому что в левую вот-вот доверчиво ляжет теплая ладонь мальчика...

Ему было шесть лет, когда мы приехали в Москву, чтобы показать его врачам, и для нас с женой эта поездка была одной нескончаемой тревогой, а для него мы конечно же старались сделать ее одним сплошным праздником. И в перерывах меж посещением больницы он то стоял около Василия Блаженного, задрвав подбородок, разглядывая купола, а то в сером зимом зоопарке пытался заговорить с одиноким и печальным слоном, и его нельзя было сторвать от окна ни в автобусе, ни в такси, и даже в метро, чтобы не пропустить и единого мига появления новой станции, он непрерывно смотрел в черное, с отпечатком вагона стекло.

Он был добрый мальчик, выросший в дружной и очень счастливой тогда семье, и на всякое обращенное к нему слово незнакомого человека, на всякий заинтересованный взгляд взрослого отвечал удивительно доверчиво улыбкой, в которой так и светился отблеск общего нашего семейного счастья.

Как-то на улице Горького мы зашли пообедать в кафе «Охотник», за толстым стеклом которого среди рыжей травы пробирался по своим делам пыльный, давно полинялый волк.

Хоть убей, я не помню теперь, что мы там тогда ели, скорее всего, что-либо самое простое, да и приправа, не сомневаюсь, была обычная — мои бесконечные рассказы о тайге, о живущих в ней зверях и зверушках. Мите эти рассказы очень нравились, а мне было радостно, что нравятся, и заканчивал я всегда одним и тем же: напоминанием мальчику, что хоть живем мы теперь на юге, но по рождению, по закваске он — сибиряк...

Зато я так хорошо запомнил, что было потом!

Когда мы пообедали и вышли из зала, Митя, приподнимаясь на цыпочках, протянул над гардеробную стойкою кулачок с нашими номерками, и веселый, видно, успевший стаканчик пропустить, пожилой гардеробщик со старым шрамом, идущим косо через щеку, вдруг подмигнул ему, лихо снял с вешалки близко висевшую светло-серую шинель и, подавая ее мальчику, как-то очень ловко сложил ее — от нее остались в основном лишь ворот да плечи с новенькими генеральскими погонами.

— Прошу вас, молодой человек!

Один из его дедушек, подполковник в отставке, давно научил Митю этой науке — различать воинские

званья, и теперь мальчик во все глаза смотрел на широкое золотое шитье, на крупные звездочки посредине, и личико его расплывалось в растерянной, но явно довольной улыбке.

Старый гардеробщик был нарочно строг — я, мол, жду! — и Митя спросил удивленно и весело:

— Думаете, я уже генерал?!

Тот невозмутимо пожал плечами:

— А что такого?

Митя заморгал часто-часто и даже ладошку протянул:

— Да ведь я еще маленький!

— Что ж, что маленький? — не отступал гардеробщик. — Вон ты какой герой! Уколы делают — ведь не плачешь?

— Нет, что вы! — подхватила жена. — Он у нас никогда не плачет.

Я подтвердил:

— Он у нас терпеливый мальчик.

Что правда, то правда!

У него была астма, и приступы чаще всего вызывались резкими запахами и пылью от ветхих вещей. Где-либо в автобусе он тут же начинал задыхаться, если рядом садилась женщина, от которой слишком пахло духами, и мы торопливо меняли место, а то, бывало, и выходили, чтобы пять-десять минуток постоять с ним на воздухе.

И он не оставался ночевать в старом доме у бабушки, когда мы приезжали в станицу, — нам приходилось идти к знакомым, которые недавно получили квартиру в центре.

Третий год его лечили уколами: каждый день по уколу — полсотни подряд, потом небольшой перерыв и полсотни, до нового перерыва, опять.

Надо было видеть, как он, в самом деле, держался!

Он ни разу не вскрикнул, даже не пискнул, только личико сперва каменело, а потом становилось слегка виноватым: ну вот, мол, не выдержал — пришлось мне нахмуриться!..

Сейчас он тоже на секунду нахмурился:

— Я их ни капли не боюсь, этих уколов!

— А я что говорю? — доказывал подмигнувший теперь и мне гардеробщик. — Вон сколько народу у нас бывает!.. А тут я сразу вижу: герой! А может, думаю, ему уже и званье присвоили?

За спиной у Мити с номерком в руке уже стоял совсем еще молодой генерал, высокий и симпатичный лицом, с улыбкою ждал, что наш Митя ответит.

Тот вздохнул:

— Нет еще!.. Пока не присвоили.

И до того чистосердечным был этот вздох, что мы с женой рассмеялись, повел с сожалением головою гардеробщик, а генерал взял сзади Митю под мышки, приподнял и повернул лицом к себе уже около груди. Раз и другой подбросил, прижал к себе снова и передал мне, а я привычно подхватил рукой под коленки и тихонько хлопнул его чуть повыше: генерал ты, мол, наш — «горшочек с дырочкой!..»

А может, и в самом деле он был бы генералом?.. Каким-нибудь совсем необычным, каким-нибудь удивительным генералом... Стал бы он генералом мира, например. Или генералов мира не бывает? Бывают только генералы войны?..

А он вдруг стал бы! Как знать?

Если бы не этот трамвай, промчавшийся с недоуменной скоростью...

Той осенью по обе стороны от школы ремонтировали трамвайные пути, и вожатым, чтобы не выбиться из графика, приходилось увеличивать скорость как раз напротив школьного двора. А какая у первоклашек реакция?..

Потом-то здесь сразу повесили знак, и с нашего двенадцатого этажа мне очень хорошо было видно, как он подпрыгивает под зимним ветром: две бегущие маленькие фигурки, два крошечных портфеля в руках... И я спрашивал себя, когда стоял, ткнувшись лбом в стекло, и сверху глядел на этот знак, под которым все это произошло, спрашивал проезжавших на желтых автомобилях «гаишников» — их районное отделение находится как раз рядом со школой, немножко наискосок от нашего дома, — безответно спрашивал всех: ну почему его, этот знак, повесили после, ну почему, вы скажите мне, почему?..

Недавно этот знак сняли. Или просто упал?.. Значит, для всех это уже позабылось: и краны, приподнимающие передний вагон как раз напротив крыльца ГАИ, и запрудившая улицу толпа вокруг них, и безжалостно сигналившие, но мигающие как бы уже поусторонним светом автомобили «реанимации»...

А я опять перебираю в памяти дни его совсем коротенькой жизни.

И среди самых разных дней, каждый из которых мы все тогда так старались сделать счастливым для него, нет-нет да и появится этот, из-за теплоты и щедрости человеческого сердца ставший тогда особенным... Ведь он потом почти всю улицу Горького прошел меж нас вприпрыжку! А как рассказывал после дедушке! И как у него загорались глаза, если я его вдруг подхвалял: «Недаром ведь дядя тогда принял тебя за генерала!..» Какою мгновенной краскою молча вспыхивал, если тем же случалось вдруг укорить: «Про тебя ведь думали, что ты уже генерал, а ты?..»

И теперь, когда его давно уже нет на белом свете, сердце мое словно бы ни с того ни с сего, бывает, вдруг замрет от благодарности к тому пожилому человеку, внешности которого я почти не запомнил — только шрам на щеке — и о котором не знаю ничего кто он?.. Как он жил? Как живет сейчас? Жив ли?

Никогда я не захожу в это кафе, хотя довольно часто прохожу теперь мимо: мы ведь больше всего оказался для него здоровей, чем на юге... Только мельком смотрю на пыльного волка, который за толстым витринным стеклом все так же бежит среди рыжей травы по одиноким своим делам.

А тот пожилой человек, тот добрый старик, может быть, перешел в другое кафе. Или в дорогой ресторан. Или в этот пивной зал, из которого я только что вышел... И мы-то с ним хорошо знаем друг друга, хотя один другого не узнаем.

«Спасибо, отец!..»

И я выхожу на людную улицу, где, взявши за руки мать и отца, скачет вприпрыжку маленький мальчик... Такая же темно-русовая головка, с чуть торчащими почти прозрачными ушками, тот же светлый затылок, те же руки, не успевшие загореть, те же тонкие лодыжки над гольфами. Белые гольфы — такие же были и у него. Кофейного цвета костюмчик — как у него... И даже такие же башмаки.

Прошел уже не один год, а мальчик одет, как тогда, — почему так стремительно меняется мода только для взрослых?..

А эта простенькая одежонка, которую без лишней фантазии кроит наша легкая промышленность и миллионами штук шлет по России, давней тяжестью опять давит сердце — так мальчишки в ней друг на друга похожи!

Или, может, родители мальчика, думаю я, тоже не любят выстаивать в длинных очередях «Детского мира», может, тоже считают, что это не главное — как он будет одет... А вот что рассказать ему? Что пока утаить? Как объяснить, что такое земля у него под ногами?.. Что такое небо над ним? Что такое — вечерние звезды? Луна?.. Почему пусть бежит по делам своим рыжий крошечный муравей? Почему жеребенку, которого обещали подарить ему в цирке, нельзя вместе с нами жить на двенадцатом этаже?

Я смотрю на этот светлый затылок. При каждом подскоке мальчика подпрыгивает кофейный отложной воротничок... Может, хоть он-то вот вырастет и вдруг будет счастливым? Может, это он станет генералом?.. Генералом мира, конечно. Только и только им.

А почему это, размышляю, когда следом за ними иду потихоньку, почему это, собственно, станет?.. Не вернее ли будет: давно уже стал. Сразу, как только появился на свет. Этот мальчик, и мальчик другой, идущий по улице с маленьким щенком на веревочке — нет поводка, и девочка в брючках, их будущая невеста, осторожно доедающая мороженое, и все-все другие мальчики и девочки и в этом таком большом городе, и все-все на такой теперь маленькой нашей Земле?

Разве жизнь каждого из них уже сама по себе не есть всеобщий приказ: не стрелять?.. Разве рождение всякой новой души, каждой крохи, ее первый, чтобы обрести дыхание, крик — не есть безоговорочное подтверждение приказа?!

Но в газетах сегодня — опять... И по радио — снова. И все то же самое будет вечером по телевизору.

И даже в светлые дни никак не избавиться от ощущения, что мир стоит перед страшным порогом...

А что же его генералы? Что с ними станет?.. С генералами мира на всей зеленой пока Земле?

И страшная меня посещает мысль: неужели, думаю я, может случиться, что наш так рано погибший мальчик окажется вдруг куда счастливее всех остальных, потому что это случилось с ним накануне?

И его оплакали мать и отец, его оплакали братья, в последний путь его провожали родные и близкие, близкие потому, что он добрым был и привязчивым и всех наших друзей со святою верою детства считал и своими друзьями, и они это знали...

Какой был ясный день в октябре, какое промытое голубое небо висело над бронзовыми, над рыжими, над рдеющими багрецом кронами притихших деревьев!..

Его похоронили на кладбище в Вострякове сбоку от братских могил, где под одинаковыми гранитными надгробьями лежат умершие от ран в московских госпиталях солдаты прошлой войны.

Обязанный им своим появлением на свет, он покоится нынче совсем рядом с ними, и в дни поминовения, когда над братскими этими могилами звучит медь военных оркестров, — она звучит как будто и для него... И неутраченный уже столько лет плач не увидевших счастья женщин — это словно бы плач и по нему.

Одни и те же птицы слетают с усыпанных мирными зернами солдатских надгробий и садятся на оградку к нему, и белки растаскивают принесенные малыши детьми и старухами конфеты и грызут их, сидя на каменных краях цветника над его маленькой могилой, а кедровые орехи, которые оставляем для них мы с женою, они уносят туда, к постаментам солдат прошедшей войны.

Но кто, вы скажите мне, кто оплачет потом ныне живущих?..

Что будет с этими скачущими сегодня на одной ножке, с этими, кто ведет щенка на веревочке, кто доедает мороженое, кто отбивает ладоши, аплодируя рыжему клоуну в цирках всей нашей все еще пока зеленой Земли, — что будет со всеми генералами мира?

Что с ними будет, скажи, отец?..

## ДОСВЕТКИ

Необычная выдалась в Москве осень.

После благодатных, полных тишины и тепла дней, когда невольно казалась, будто увядающим в парках кронам щедро отпущен срок окончательно пожелтеть и набрать побольше багрянца, неожиданно промчался холодный и злой вихрь с обильным дождем. Принаряженные деревья в одночасье обнажились и почернели, а пестрые клочья их изорванного убора засыпали все вокруг, прилипли к влажной земле, приникли к полегшим травам. Несколько хмурых, в тумане с утра до вечера, дней листья мокли в лужицах на асфальте, истирались подошвами на обочинах, а потом обильно высыпал снег. Морозец не очень-то спешил его поддержать, ударил самую малость, и крупные следы собаки, когда она бежала впереди меня по аллее, тут же бурели и потихоньку затягивались жижею. Черенки от листьев торчали в них по бокам, словно концы соломы, и было похоже, что идешь не по городскому скверу, а посреди припорошенной снежком, раскисшей в непогоду кошары, и собака — не мирный ньюф, лопухая размазня, за столичное свое вынужденное безделье переведенная из служебного клуба в декоративный, а налитой степной силою волкодав с самодельным, из толстого брезента, широким ошейником, плотно утыканным остриями хорошо заточенных гвоздиков — попробуй, стая, перехватить ему горло!



Откроются сейчас широкие двери овчарни, и к набитым пахучим сеном кормушкам, тесня тех, кто послабей, хлынет снова уже обросшая после коллективной стрижки в начале лета несознательная братва, и над розовой, обещающей солнышко, макушкой ледяного Эльбруса промелькнет справедливая ярлыга чабана Ивана Андреевича Корнева...

На маленьком заводике цветного литья, который лепился рядом со сквером, как всегда в этот час, выгружали заготовки, негромкий их перезвон звучал удивительно чисто и особенно тоненько, в нем слышалось что-то почти журавлиное, и все-таки это был отголосок совсем иной жизни.

Куда же зовешь меня, душа?

Мне ведь через полчаса на службу.

Опять будут и телефонные звонки, и долги, глаза в глаза, разговоры, опять будет суета без конца и безотня по сизым от дыма сигарет издательским комнатам. Но как знать: может быть, это и в самом деле необходимо, чтобы однажды вдруг не уйти за тот предел одиночества, из-за которого можно уже и не вернуться.

Ну а воля?.. А ежедневное раньше право выбора?

Так или иначе эти полчаса — мои, и всякое утро, когда выводил гулять собаку, переживаешь их особенно остро, тем более теперь, осенью. Удивительная все-таки пора!

Большинство из моих собратьев считает ее самой творческой, это так, но, может, все дело в том, что все мы, даже те, кто так гордится тонкой своей душевной организацией, на самом-то деле просто-напросто подчинены вечным законам плодоносящей нашей Земли?

И если было тебе над чем гнуть спину, если ты не просто размахивал руками, а на самом деле посеял, вот и поспело время собирать урожай; а эта властная тяга начать новое, это состоянье нетерпенья, когда уловишь вдруг верный тон, что не давался тебе до этого годами, это радостное томление над первыми строчками, которые пригодятся тебе не сегодня, а когда-то потом — считай, посадка под зиму; а вроде бы бестолковое кружение образов и мельтешенье прожитых дней — это осмотр припасов, заготовленных впрок за многие дни перед этим...

Есть хорошее старое слово: досветки — время перед зарей. В памяти у меня оно живет рядом с дымным язычком пламени от каганца военной поры, рядом со стоящей на подоконнике перед стеклом, за которым чернеет почему-то именно осенняя мгла, керосиновую лампой... Досветки: время, когда надо вставать, хотя еще так тянет поспать, когда пора приниматься за работу. Время «жаворонков». А может быть, «совы» — вообще порождение цивилизации? Или наоборот?.. И они — дальние потомки тех, кому доставалось чаще других оставаться в ночь у горящего костра, хранить наш общий огонь?

Этой осенью я не смог вырваться на Антоновскую площадку — отправил в Новокузнецк Жору.

Раньше, когда мы уехали оттуда, когда только обвыкали на юге, он был, что называется, преисполнен вольного сибирского духа, и даже явные преимущест-

ва благоустроенной жизни на Кубани воспринимал чуть ли не с вызовом.

Наш дом на Антоновке стоял под знаменитую теперь горой Маяковой, которая кроме официального своего названия имеет еще несколько, даже на самой подробной карте не указанных. Все они затрагивают одну и ту же деликатную тему, яснее всего обозначенную в выражении «Гора Любви». Остальные, к сожалению, не так благозвучны.

Гора тогда мешала смотреть телевизор, и все мы надоедали председателю райисполкома покойному Петру Семеновичу Щетинину, выключивали для поселка ретранслятор. Но Петр Семенович не спешил, сам он, как почти все остальные начальники, имел квартиру в городе — один лишь Белый с многолетним своим семейством всегда переживал наравне со всеми многочисленными причуды новостроенного быта.

Пока Щетинин все обещал, пока раскачивался (эх, как хочется сказать, что у нас в России это иносказание очень часто имеет и свой прямой смысл — идти, пошатываясь, отчего столько дел бывает упущено), каких только антенн на домах не понастроили!..

Коля Шевченко уже скотил тогда эту свою, из одних комсоргов, земляческую бригаду монтажников, они потихоньку начали набирать очки, но до славы им было еще ой как далеко, и далеко до самой сложной на стройке работы — наиболее ответственный свой подъем они тогда, по-моему, провели, когда по старой дружбе взяли помочь мне с антенной. Чертежи для нее сделал сам главный энергетик завода Дмитрий Михайлович Горонескуль, сосед по подъезду, и когда она, полукруглая, с двумя десятками поперечных штырей, на мощных расчалках, вознеслась наконец над остальными на нашей крыше, все мы дружно задрали головы, и Коля Тertyшников сказал:

— На Пентагоне будет поменьше, а?!

Однако и «пентагоновская» антенна не в силах была противостоять многоименной нашей горе: кадры на экране продолжали бежать и приходилось силой оттащить Жору от телевизора. Зато соседским мальчишкам в Майкопе он потом с гордостью объявил:

— А чего у вас тут хорошего?.. У вас даже мультики не прыгают!

Не то чтобы мне хотелось как-то умерить этот сибирский патриотизм явно квасного толка, нет. Дело было в другом: теперь он жил на родине своих предков, и надо было, чтобы родину эту он и поближе узнал, и полюбил. Чего только я тогда для этого не придумывал! И таскал его за собою собирать травы по крутым катавалам за Урупом, откуда так хорошо смотреть на привольно раскинувшуюся в зеленой долине нашу Отрадную, и обязательно брал на праздники пастухов, сквозь плотную людскую стенку проталкивал каждый раз в первые ряды, откуда ему хорошо было видать, как из-под ног у взмокших от жаркой работы стригалей ровесники его подхватывают вороха волнистой шерсти, как наперегонки бегут к транспортеру паковочной машины. Со знакомым председателем мы договорились, что его возьмут на пасеку собирать маточкино молочко. Потом он поехал пасти овец к Ивану Андреевичу Корневу, и до сих пор

почти наизусть помню отрывки из его дневника той поры, когда, ко всеобщей нашей радости, он вдруг решительно заявил, что станет биологом.

Вот пасака:

«...Вечером растопил в хате плиту, она тут почему-то называется «грубка». Лаборантка Саша сварила очень вкусный борщ. Поужинать решили, когда покормим пчел. Налили в ведро сиропа и пошли. Я должен был дымарить. Открыли первый улик — в нем были тихие пчелы, всего одна меня укусила. Леха лил в кормушки сироп, это самая рискованная работа, но у него чего-то не получалось. Тогда я стал лить сироп, а Леха дымарить. Лаборант Володя открывал крышки уликов. Первые семь покормили благополучно. И вот мы подошли к одному улику. Володя сказал, что здесь самые злые пчелы. Как только приоткрыли крышку и я туда сунулся с ведром, из улика вылетел целый рой, и я не помню, как оказался в кустах жигуки. Когда очухался полностью, увидел, что Леха лежит рядом. С горем пополам докормили остальные семьи, а эту больше кормить не стали, пусть тогда как хотят. Руки мои не слушались, и я еле снял с себя все свое снаряжение — маску, плотную курточку, свитер и трое штанов. Как пришли, Саша сразу нам борща налила. Стали есть, а у меня ложка из рук падает. Пальцы на обеих совсем опухли и не сгибаются. Саша хотела покормить меня с ложки, но все стали смеяться, и я тоже. Так голодный и лег спать. В общем, день прошел нормально».

Вот кошара:

«Сегодня чабановал сам Иван Андреевич. Вечером я просил его показать мне Эльбрус, и вот он первый раз разбудил меня в четыре часа. Встал я, вышел из домика Эльбрус посмотреть, а там такая красотища. Вдалеке цепочкой тянутся горы с заснеженными вершинами, а сквозь снег проглядывают черные прожилки. Я смотрел, наверное, полчаса, пока не насмотрелся, и все жалел, что не взял с собой фотоаппарат. А потом весь день жалел, что Леха не посмотрел на горы, потому что ночевал не на коше, а у родни на хуторе. Действительно, такая красота была, аж дух захватывало. Полюбовался я, полюбовался и пошел досыпать. А второй раз Иван Андреевич разбудил меня в пять часов, и мы стали считать овец, их тут, оказывается, каждый день считают. В отаре у Ивана Андреевича 1644 штуки. Потом мы их стали выгонять с коша на пастбище. Иван Андреевич помог нам с Лешкой поймать лошадей, а потом сесть на них. Мне досталась гнедая кобыла, а Лешке белый конь. Седла у меня не было, и Иван Андреевич дал мне фуфайку, но она все время выскальзывала, и в конце концов я ее на себя надел, так легче было падать. Но без седла все же плохо было. К вечеру боль кое-где уже нельзя было сносить, и вечером я решил слезать на чердак и поискать седло, пастух дядя Жора сказал, что оно там должно быть. А этот чердак в заброшенной хате, где раньше чабаны жили. Как я залез туда, оттуда целая туча летучих мышей вылетела, столько много, думал, собьют меня, но они все

мимо пролетели. Пыли там хоть лопатой выгребай, три шкуры овечьи лежат, несколько старых фонарей, а в самом углу я седло нашел, правда, оно было без стремян. Но я решил, что пойдет. Оседлал свою гнедую кобылу и сел, но она меня тут же сбросила. Но самое обидное, что за спину укусила, когда я еще на земле сидел. Наверное, что-то я сделал не так, и она на меня за это рассердилась. В общем, день прошел нормально».

Это его «нормально» меня тогда больше всего и подкупило, я у него выпросил дневник: глядишь, у меня, как говорится, целей будет.

Потом мы переехали в Москву.

Из притихшего и грустного нашего дома в начале каждого лета он сам заранее отпрашивался на юг — на бабушкины помидоры, на дедушкин виноград. С Лешей Шишко, с тем самым Лехой, с которым, искусанные пчелами, валялись в крапиве, они теперь ездили не на этот богом забытый хутор Зеленчук-Мостовой, теперь они, видишь, с маской да с ластами катили на море под Туапсе. И когда мы хоть чуть опомнились наконец, мне стало обидно за Антоновскую площадку, и к месту и не к месту я стал напоминать ему: не забывай, твоя родина — Сибирь!

Я знал наверняка, что Запсиб для него — не пустой звук, втайне он очень гордился, что мы там работали, что у его отца, у матери столько старых товарищей оттуда — и бывших новокузнецчан, и нынешних.

К этому времени мы с ним давно уже вели тихую войну за телефон: в определенные часы я постоянно выключал его, чтобы без помех посидеть за письменным столом или не бегать к нему, не дергаться, когда уже не успеваешь перед работой побриться. А ему он постоянно был нужен, вдруг девочка позвонит, он уносил аппарат в свою комнату, а после с виноватым видом открывал дверь ко мне, нарочно деловито тянул шнур и подавал трубку с озабоченным лицом все понимающего, хорошо поднаторевшего референта.

Телефон всегда стоял рядом с ним, когда меня почему-либо не было, и постепенно ему пришлось взять на себя те самые обязанности диспетчера, которыми до этого занимался я сам или поневоле, не без упрека в мой адрес потихоньку выполняла жена: записывал, кого и каким поездом встречать, кому попробовать заказать гостиницу, для кого какой заранее «забить» вечерок, чтобы можно было не торопясь попить чайку и потолковать по всем, понимаешь ли, насущным проблемам современности.

Дома я не успевал снять пальто, как он начинал докладывать:

— Тебе телефонограмма. Передал товарищ дяди Юры Лейбензона, приезжал в Москву за семьей.

И протягивал аккуратно исписанный листок: «Старичок Гарюша! Что же ты все только обещаешь, а не летишь? Или Вьетнам для тебя — это уже край света? Замотался или, не дай бог, обленился? Мы тут вкалываем, как в лучшие времена на Запсибе. Вечерами перебираем струны. Надумаешь, не забудь захватить черняшки и ржавой селедочки. Остальное найдем. Бывший механик ЖКК Робинзон».

Само собой, что благодаря обилию гостей Жора давно уже овладел этим вовсе не беспредельным запасом немудреных шуточек, одинаковых и в Сибири, и на Кубани, и поэтому у порога вдруг предлагал: — Стул тебе пододвинуть? Не упадешь?.. Тебя просил позвонить начальник Госцирка СССР.

Я пытался тянуть его на столичный уровень:

— Извини! К счастью не имел чести знать.

А он прямо-таки расцветал на глазах:

— Новый начальник. Как он сам сказал, новопеченный. Может, догадаешься — кто?

Я старался придумать что-либо фантастическое:

— Дядя Сережа Абрамов?

Но он уже не мог больше терпеть:

— Дядя Слава Карижский!

Оставалось и в самом деле только плюхнуться на диван.

— Я предупреждал! — сказал он совсем моим, «родительским» тоном. — Вот телефон, придешь в себя, позвони. Только знаешь, о чем он просил тебя? Прежде чем папа позвонит, пусть, говорит, он хорошенько подумает и вспомнит: кто всегда кричал, что наша стройка — настоящий цирк?.. Кричал ты, да?.. Ну вот, а дядя Слава теперь сказал: выходит, яичего странного, выходит, он снова по той же части.

И пока я уже с грустной усмешкой рассуждал про себя, что этот хитрец дядя Слава — тоже старая сибирская школа! — сам над собою смеется первым, хотя ему сейчас вовсе не до смеха, а выть небось в гелос хочется, Жора не без любопытства спросил:

— А знаешь, что мама сказала? Она сказала, ей все понятно. Дядя Слава всегда, она говорит, первым хватался на воскреснике за лопату и всегда помогал девочкам, брал носилки потяжелей.

— Ну, еще бы! — приподнял я обе ладони. — Мама — известный теоретик! Сейчас я это дяде Славе процитирую. Лопата в цирке — первое дело!

— Просто она сказала: значит, там комсорг нужен. Предложили, и он пошел.

Оба гениальные теоретики, ну как же, — значит, Жора ей позвонил, и они давно уже все обсудили, и мама, конечно, с присущей ей обстоятельной, все еще на уровне молодого мастера СУ-1 из треста Кузнецкметаллургстрой на ударной стройке Запсибметзавода, доверчивостью тут же сыну весь расклад объяснила!

Но вообще-то, признаться, мне и самому хотелось так думать... Какие были комсорги! Как верили они сами и как поэтому ребята верили им!

Может, той прямодушной веры, которая и самим нам теперь кажется порою наивной, может, как раз ее так нынче многим из нас и не хватает?.. Может, в торопливости жизни, в безудержной погоне за призраками — каждый за своим, персональным — мы забыли такие слова, как самоотречение, самоотверженность, истовость?

Или не позабыли? Нет?

Лишенный из-за службы возможности уезжать теперь далеко и надолго, в этом году я попробовал выкраивать для себя коротенькие поездки к давним своим товарищам, и первая была — в Старый Оскол.

Коля Шевченко, который собрал там целую колонию сибиряков, до этого уже не раз говорил мне, что записовских «старичков» на Белгородчине теперь больше, чем на самой Антоновке, но я все только посмеивался, и лишь там, когда после сумасшедшего, наполненного тяжелым грохотом дробивших руду стальных машин дня мы отдыхали в баньке, я вдруг подумал, что если Коля и «загигбал», то, в общем, самую малость.

Банька была не какая-нибудь блатная, только для избранных судьбы, сауна. Русская была, с каменной, располагалась на первом этаже в конторе управления монтажников, и на дверях ее висело не такое уж короткое расписание с номерами участков, с названиями остальных служб и со специально отчеркнутым — или мы не рыцари? — часом для женщин. Выходит, мне просто повезло, потому что появился в Осколе в «комсоставовский» день, но ни начальника управления Миши Ретунских, хозяина бани, ни Коли Шевченко пока не было, и Женя Черников, начальник другого здешнего управления, тот самый бывший бригадир нашей, известной всей Антоновке «музыкальной», потихоньку шепнул мне, что после рапорта они остались песочить молодого начальника участка, — это не автор виноват, что кругом сплошные «начальники», виновато расписание бани, — Нарзифа Шаймарданова, тоже нашего, тоже с Антоновки. Другой Женя, Подчасов, который после старой, еще на первой нашей домне, аварии не всегда дослышивал, скорее по нашим лицам догадался, о чем речь:

— Я вам всегда говорил, что он хитрый хохол — Шевченко! Ты понимаешь, какое дело: он взял с собою с Запсиба всех, кому там почему-либо не везло... Ну, кто еще не нашел себя. Кого не очень ценили. А здесь они работают каждый за пятерых, и он их еще и жучит. Понимаешь, какое хитрое дело?

Но вот она появилась, эта троица. Два суровых руководителя и только что пропесоченный ими молодой Шаймарданов. Почти мальчишка и по-мальчишески красивый: черные большие глаза на правильном худеньком лице, дружелюбный, но с достоинством взгляд. Это я уж после подумал: может, потому он и был тогда так словоохотлив, что перед этим ему на верняк пришлось все больше слушать?

— Это здорово, что я вас тут увидел, — очень искренне заговорил Нарзиф, когда мы поздоровались. — Ведь я, можно сказать, из-за вас сюда и приехал... Не понимаете? Мы ведь были еще мальчишками, когда бригада Николая Петровича гремела. Монтажные волки, асы — гордость Запсиба!.. Я тогда читал все, что вы про них писали. Вырезки собирал. Каждый очерк. Каждую заметочку. Ну все-все. А помните, был киножурнал про эту бригаду? Нескольким раз ходил смотреть, вот не вру!.. «Великоленая семерка» как раз шла. Дружки мои туда, а я совсем на другой фильм, на идиотский, правда, зато он вместе с этим киножурналом шел. Я посмотрю журнал — и галопом на «Семерку». Так начала и не увидел. Зато я Николай Петровича узнал сразу, когда на заводе потом встретил. Увидел, чуть не крикнул: здравствуйте, Николай Петрович! А он так посмотрел на меня, — тут

Нарзиф довольно удачно Колю изобразил, и все, кроме самого Коли, заулыбались,— посмотрел так, и ни с того ни с сего вдруг говорит: «А поедешь в Старый Оскол? На электрометаллургический. Слышал?»

Такие хорошие были у мальчишки глаза, так доверчиво мне, пять минут с ним знакомому, он все это говорил, что я себя невольно виноватым почувствовал и, желая, наверное, хоть слегка опустить его на грешную нашу землю, кивнул в сторону Шевченко и не без ехидцы спросил:

— Это когда Новокузнецкий горком по всем гостиницам разослал предписания ни при каких обстоятельствах не поселять Николая Петровича? Чтобы свой любимый Запсиб не растаскивал?

— Они тогда тоже придумали! — улыбнулся как бы нехотя Коля, все еще, видимо, не остывший после руководящих припарок своему подчиненному. — Больше десятка лет прожить на стройке, и чтобы негде потом переночевать? О гостинице я и думать не думал. Но все это Нарзиф пропустил мимо ушей.

— Я его тогда спрашиваю,— продолжил он тут же, как только Шевченко замолк. — А на какую должность?.. А Николай Петрович: пока не представляю. А оклад?.. Не имею понятия. А квартира?.. Вот это, он говорит, единственное, что с полной ответственностью гарантирую: квартиры не будет. Едешь?..

И управляющий трестом Центрметаллургмонтаж, тоже какой, вы бы видели, красавец, за последнее время, правда, чуть попригасший, чуть словно пеплом присыпанный, уже поседевший, сменил наконец-таки гнев на милость, отпустил наконец-таки Шаймарданову неизвестные мне грехи, разулыбался наконец-таки совсем открыто и озорно. Обаяния, подумал я, в нем, пожалуй, прибавилось и еще!

— Зима была, а он шапку с себя сорвал, Нарзиф, и — об дорожку!.. Когда, говорит, билет брать?

— Нет, представляете? — тянул ко мне тонкую руку Нарзиф. — Если бы я тогда отказался?.. Кто и куда меня еще раз так позвал бы?!

Может, не позабыли мы?.. Все-таки нет?!

А что касается фарисеев с их вечно постными — чего им не хватает-то? — лицами, что касается одетых в дубленки лавочников с их хрусталем и с их надетыми на каждый палец брильянтами — это все, ребята, сойдет, как короста, жаль, чуть подзапустили... Когда?

Так вот, о Жоре.

В Москву тогда как раз прилетел в командировку Слава Поздеев, один из наших «старичков», сохранивших верность Запсибу, несмотря на всякие, которых у него было более чем достаточно, передряги. Я все ему в двух словах — «упирается, щенок!» — объяснил, а в конце разговора так и сказал: «Комсорг ты, Славка, или уже давно не комсорг?»

Маленькие глазки Поздеева на совершенно сухом, словно с выдубленной кожей, лице совсем сузились. Нарочно подражая хорошо знакомому нам обоим старику охотнику из кержацкого села Монашка на речке Средняя Терсь, он медленно, втяжку сказал:

— Та-ак, Лявонтич!.. Только сразу давай: ты к нам с Жоркой сегодня не подходишь. У меня их

трое — как-никак разберусь. А ты займись каким-нибудь своим делом. Есть у тебя дела?

Встал и пошел в Жоркину комнату.

Не знаю уж, что он там говорил, какие песенки пел, какими методами, выражаясь в бюрократическом стиле, действовал. Раньше, по крайней мере, его всегда обвиняли в партизанщине, и началось это после того случая, как он, бывший танкист, сам сел за рычаги бульдозера, когда был начальником комсомольского штаба на второй котельной промбазы, и попробовал вытолкать засевший в колдобине трайлер с железобетонными колоннами. Но это надо знать, какие тогда, в шестидесятые, были дороги! Трайлер спокое себе остался стоять посреди болота, вперед поползли только сами колонны, и всем своим «партизанским» штабом они потом всю ночь ремонтировали продавленную кабину — хорошо хоть, у молодого водителя трайлера хватило ума за работой комсомольского штаба наблюдать со стороны...

А кончилась партизанщина — сколько, сказали, можно?! — четыре года назад, когда Поздеев, к тому времени уже главный энергетик завода, погнал бульдозер на вертолет с областной комиссией, севший на остов погибающей дамбы гидроотвала.

Это простое совпадение, не надо думать, что все годы на Запсибе он так и ездил на бульдозере, всех терроризировал, нет. Просто в тот раз Поздеева, конечно, что называется, прорвало, как перед этим во время шквального, поднявшего волну ветра прорвало эту его дамбу. Тут понять можно: в каких только кабинетах не обивал пороги, кому только не доказывал, что дамбу надо срочно поднять.

Ну что — дамба?.. На план она не работает, показатели из-за нее не страдают. Не основное производство!.. А когда хлынула потом в Томь черная, из фенолов, река, когда на то, чтобы принять решение, не было уже и лишней секунды, тут и падает с неба эта до отказа набитая ценными указаниями «стрекоза» — самое время! Да еще садятся таким манером, что перегородила дорогу технике. А Поздеев — Дедова школа...

«Вот так, значит?! — наверняка кто-то спросит, и не без удовольствия потрет руки, и потянется за чистым листком или, в лучшем случае, телефонную трубку снимет. — Может, у него, у этого Поздеева, и удостовереньице ученика Климасенко есть, самим Леонидом Сергеевичем подписанное?»

Нету у Поздеева такого удостовереньице...

Но у кого оно есть? Кто предъявит? Кто, как говорится, возьмет на себя смелость?

Сколько размноженных портретов Леонида Сергеевича появилось потом на Запсибе на стенках самых разных кабинетов!..

Но выбирает время. А душа только хранит память. И любить ей не запретишь. И не запретишь считать про себя, что видел хоть малую частицу ответной любви. Как же иначе?

У Поздеева фотография не висела. Но на бежевом козырьке из дерматина над ветровым стеклом «газика» была выведенная чернилами примерно такая надпись: такого-то числа такого-то месяца в таком-то

году половину своего рабочего дня Дед провел в этой машине.

Я тогда спросил у Поздеева:

— А ты-то где сидел?

Он вскинулся:

— Как это где, Лявонтич?.. Рядом с ним. За рулем. Я ему свое хозяйство показывал. Ну, слушай! Университет был. А вопросов тогда решил! На месте. По ходу дела. Страшно повезло! Теперь заживем!

Это с дамбой случилось несколькими годами позже: распорядиться поднять ее Климасенко не успел.

Не знаю, в общем, что там Поздеев говорил Жоре — может, он всю свою жизнь с самого начала рассказывал, может, еще что, только на следующее утро Жора сказал:

— Если ты не против, семнадцатого сентября я лечу в Новокузнецк.

Я совершенно искренне удивился:

— За полтора месяца вперед — такая точность?

— Мы с дядей Славой все рассчитали. Сверили часы, как он говорит.

А я понял, что невольное мое удивление помогло найти верный в этом случае тон — говорил чуть ли не с насмешкой:

— И что ты там, любопытно, будешь делать?

— А мы с ним график составили, вот, — и он показал клочок бумажки. — На неделю. Первый день — завод. Второй — вертолетом в Горную Шорию.

— Ну как же! — сказал я. — Дядя Слава по части вертолетов — большой спец! Любимец пилотов местных авиалиний.

— Нет, правда, у него там есть, он сказал, друзья. Мы только туда и обратно... Два дня потом — на пасеке у Филиппыча, они же с Таисией Михайловной при тебе меня приглашали. И два дня потом в Мостовой у дяди Славы. Будем шишкарить и охотиться.

— Красиво жить не запретишь, — продолжал я слегка подначивать. — А ты думал, что это — не ближний свет? Одна дорога в оба конца — полторы сотни.

— Но я же, что зарабатываю на практике, все маме отдаю...

— А сколько ты у нее уже выцыганил обратно?

Но Поздеев, пожалуй, все еще был в неплохой форме — Жора сказал:

— Давай обождем с объективом, что ты мне давно уже обещал? Давай?

И я плечами пожал — как будто все еще никак не решался эту его затею одобрить.

Пока он дочисал котлы в пищеблоке и подметал дорожки вокруг больницы, пока потом со школьным дружком все-таки ездил к бабушке, я заранее купил ему билет на семнадцатое, правда, купил по своему паспорту — ну что потом, думал, будет стоить переписать его? Поеду его провожать и в пять, ну, в десять минут все уладится.

Вышло, однако, так, что в тот день я не смог отлучиться с работы, неожиданно задержало наше магическое: не будет кворума. Он такой, этот кворум, особенно в конце лета, в разгар отпусков, — куда ты от него денешься?

И я лишь позвонил домой и сказал: сам прорывайся. Уже не маленький. Только пораньше выезжай, чтобы на всякий случай у тебя был бы часок в запасе. Прилетишь, тут же позвони. Все. Привет. Чая! — как говорит наш зам. главного, вот он тут, уже стоит над душой.

Время, время!.. Когда ты нас хоть чему-либо научишь? Или теперь уже — никогда? И у тебя есть лишь одно непреходящее свойство: разлучать?

Разве хоть однажды проводила так меня мать, даже если я со знакомым конюхом ехал на бричке всего лишь в соседнюю станицу, всего лишь за восемь километров от дома?

Да и что это вообще за семья?! Мать еще не вернулась из отпуска. Отец сидит на собрании. А сын должен лететь за три с половиной тысячи километров, чтобы взглянуть, видите ли, на дым от металлургического завода, который они когда-то построили... да и строили ли вообще? Отец так и протолкался в многотиражке. Ну, мать, правда, мастером у каменщиков была. На складах оборудования. На молокозаводе. Летит посмотреть молокозавод!

Что с нами происходит? Что?!

И все-таки я еще бодрился. Ничего, думал. Ничего. Пусть-ка парень слетает. Ему это надо. Надо.

Наверное, в свое оправданье припоминал, как повез его на завод, когда он был совсем еще кроха.

В то время я уже не работал, был на этих самых, якобы вольных, хлебах, но по-прежнему продолжал и сочинять речи для особо торжественных случаев, и корпеть над докладами, и сопровождать по стройке именитых московских журналистов, и возить на завод каких-нибудь непонятно откуда взявшихся экскурсантов — как в тот раз. «Новосибирские хоккеисты хотели бы Запсиб посмотреть... Может, съездишь с ними, покажешь?»

«Сибирь» была главной соперницей игравшего тогда в высшей лиге нашего «Металлурга», к тому же игроков у нас регулярно поворовывала, — ну как не позакать?

День был выходной, я решил и Жору заодно прокатить, тем более что, как всякий нормальный малыш в Новокузнецке, в свои пять лет он успел уже и валенки на льду протереть, и обзавестись «самоделковыми» щитками из войлока — пусть-ка на мастерог поближе посмотрит. Но мастера, когда мы подесли к автобус к ним, сильно его разочаровали, потому что были без шлемов, без клюшек в руках, он тут же потерял к ним всякий интерес, отвернулся к окошку, продышал на замерзшем стекле глазок, козырьком шапки ткнул в куржак, и все дела. Оживился он, когда мы уже подъехали к одному из корпусов и я громко, на весь автобус, объявил:

— А сейчас мы с вами зайдем в конверторный цех!

Он снизу заглянул мне в лицо, деловито спросил:

— А в нем конверты делают, да?

На него, кажется, впервые обратили внимание — те, кто сидел к нам поближе, засмеялись, стали хлопывать его, когда проходили мимо, то по плечу, а то и, как водится, пониже спины, мой Жора чуть ли не героем себя почувствовал, но тут мы вошли в цех,

внутри грохнуло и полыхнуло вверх жарким огнем, и он вырвал ладошку, обеими руками обхватил мою ногу, прижался к боку. И не отрывался потом от меня, пока мы снова не сели в автобус.

Это, насчет конвертов, я вставил потом в пьесу, там такую же фразу говорит маленькая девочка — так уж оно устроено... Пусть у внука Веденина другое имя — Максим. Но разве это не Митя с набитым сухариками карманом шел с ним по аллее рядком под зонтиком, который держал доктор Райх, разве это не он подзывал старую лошадь и она подбегала и кланялась — как в дворике за цирковой конюшней, когда наездники-осетины доверяли нам с Митей вываживать своих запалившихся после репетиции коней и ему тогда кланялся умница Сема — послушный жеребец храброго джигита и доброго волшебника дяди Ирбека Кантемирова?..

Так мы и раздаем свое прошлое, так помаленьку и раздаем прожитую жизнь — хорошо, если такое дается легко, если не одалживаешь при этом деньков у будущей...

Дружок сына, который должен был позвонить, как только проводит Жору, все не звонил, телефон у него дома не отвечал, и я уже начал потихоньку заниматься самообразованием и маяться, а к тому времени, когда он поздним вечером появился наконец у нас дома, давно уже был готов чуть ли не к самому худшему.

Он протянул мой паспорт:

— Зря вы его давали, не пригодился.

— Это почему же?

— Они между собой долго спорили, и одна женщина, толстая такая, все время говорила: а если он украл билет, почему он не мог украсть и паспорт?

— Это Жорка?

— Ну да.

— А отца связал или просто в квартире запер?

— Мы сначала тоже смеялись... Говорили, что Жора только что утром прилетел из Краснодара. Он даже старый билет специально захватил.

На аэровокзале сперва вообще ничего не хотели слушать, потом, когда все-таки решили переписать билет, пришлось одну треть доплачивать, а время шло, и водитель автобуса, который долго ждал, пока все устроится, и сам приходил поторопить кассира, в конце концов махнул рукой и только сказал, что если Жора догонит его на такси, то так и быть, он останется, подберет его.

— Догнали?

— Нет, слишком задержались, пришлось ехать до Домодедова.

Денег на обратный билет я Жоре не давал, как раз не было, к тому же полтора месяца назад мы договаривались, что обратный билет купит ему Поздеев, а там разберемся.

— Чем же вы за такси расплачивались?

— А у меня как раз десятка была, мама утром на овощи оставляла, а я не успел.

— Выходит, он совсем без копейки?

— Почему? Таксист, когда узнал, что далеко летит, вернул ему рубль. Рейс отложили, Жора хотел мороженого купить, но после решили не тратить.

Полночи потом, выпив чайку покрепче, я ждал звонка из Новокузнецка, но телефон упорно молчал, и тут уже я окончательно расклеился, тут, что называется, поплыл — на всех парусах.

В Новокузнецк давал две телеграммы, но, может, ни одна не дошла и никто его там не встретит? Может быть, самолет посадили в Кемерово, а то и в Барнауле, — куда он там со своим рублем?

Как всякий русский человек, сам себе создавший проблему, я с жаром принялся обличать других, и больше всего, конечно, доставалось аэрофлотовской толстухе — если и в самом деле существует передача мыслей на расстоянии, то она должна была знать, что завтра утром я появлюсь в аэровокзале, подойду к этой стойке, где регистрируют рейсы на Новокузнецк, и упавшим голосом произнесу: «Вот такая история. Вчера у меня украли билет на рейс 210».

По моему коварному, наваянному ночными страхами плану, она тут же должна была с торжеством воскликнуть: «А я им что говорила!»

И этим с головой себя выдать.

Сам я беспощадно казнился другим: зачем, в самом деле, нужна была эта дурацкая поездка?.. И правда, вместо того чтобы в тепле да уюте жить всегда вместе, жить кучечкой, как прабабушка говаривала, как вслед за нею уже с безысходной тоской в голосе повторяла мама, мы с неизменным упорством разъезжаемся, мы все, куда-то стремительно и вечно опаздывая, спешим сами и все чаще и чаще отправляем теперь сына — зачем?!

А может, думал я тогда, в этом есть какой-то, временами ощущаемый мною почти с физической болью, свой тайный смысл? И за этим кажущимся спокойствием, с которым покупаешь ему билет или посылаешь в очередь за ним его самого, за этими скупыми и даже как будто небрежными, которыми провожаешь его, словами есть своя пугающая разгадка?.. Нам ли, видевшим столько слез, пролитых лишь на одном вокзале, на Армавирском, слышавшим столько жестоких упреков, что не похожи на остальных, которые сидят с родителями, детей, нам ли не знать, что жить «кучечкой» — это мечта, которая не сбывается уже почти никогда... Разве можно жить вместе, рядышком, если не сбывается даже другое: чтобы все были живы как можно дольше. Еще хоть немножко. Еще хоть чуть.

Может быть, думал я, все еще тянется для нас жестокое время, когда мы просто не можем позволить себе думать о длинной жизни впереди и потому незаметно для себя потихоньку готовим его обходиться без нас и, спасая от одиночества, которое ему еще только предстоит, учим искать тепла там, где, может быть, его уже не осталось, а то и не было вовсе... Может, так?

Пробовал утешить себя: ничего! Вон он уже какой лицом а стал. Не пропадет.

Впервые вдруг пришло в голову: а почему это прабабушка, когда хотела сказать, что мы уже совсем выросли, так и говорила нам: лицом а вы дул.

Надевал очки, листал Даля.

Удивительное дело: обращался к нему всегда; ког-

да всплывало в памяти произнесенное много лет назад чье-то слово, и в толковании его всякий раз было и подтверждение родства с теми разными землями, откуда пришли на Кубань довольно далекие теперь мои предки, и ощущение слияния этих земель в одну единую... Все в этом словаре — и как одевались они, и что за пищу ели, и какой инструмент держали в руках, и чему они радовались, и над чем потешались... Как-то я подумал: для тех, кого не посетило модное нынче искушение обнаружить в третьем своем колене бабушку-дворянку или повесить на стенку купленный в антикварном салоне на Фрунзенской набережной портрет прадедушки, тайного советника, который только потому тайным и является, что никому не известно, откуда взялся, может быть, для всех нас этот словарь — общая, одна на всех народная наша родословная?..

Перебирал тогда страницы и думал: а что, если в роду у нас были волжские бурлаки?.. Что, если кто-то ходил на Каспий уже оттуда, уже с Кубани? Или в этом слове — дальний отголосок от шума еще тех, Днепровских, порогов?

Вместо будильника я поставил на тумбочку рядом с кроватью телефон, но не он меня разбудил. Проснулся я от того, что холодным своим сухим носом толкала в плечо собака. Пока я приподнимался на кровати, пока с удивлением и чуть ли не с ненавистью глядел на телефон, она притащила из прихожей висевший на гвоздике ошейник, положила на коврик и распласталась перед ним на полу, вытянула морду так, что большие ее уши аккуратно расстелились по обе стороны. Внимательно смотрела на меня черными, чуть скошенными глазами, и во взгляде у нее не было осуждения, а было только глубокое, но словно отстраненное от меня раздумье о собачьей жизни вообще: вот, вывел, мол, вчера на пять минут, а что же сегодня — и вообще не собирается?

И тут он зазвонил, залился почти без промежутков. И без обычных этих вопросов с московской станции, тот ли, не тот ли номер, женский голос свойски спросил:

— Не разбудила? Это Новокузнецк. Тридцать восьмая. Даю трубочку сыну.

— Привет,— сказал я. — Почему ты сразу не позвонил?

— А сегодня пятница, ты забыл? Ты по пятницам отсыпаться.

О слове «отсыпаться» у него были пока свои понятия.

— Как ты долетел? — спросил я и вдруг понял, что он скажет: «Нормально!»

Он так и сказал.

— Встретили тебя?

— Ну а как же, дядя Витя Вьюшин встречал, а Поздеев на даче.

Значит, про себя уже все-таки сомневался Поздеев, что по-прежнему он — комсорг. Или просто забегался?

— А от кого ты звонишь? От дяди Вити?

— Нет, от Надежды Филипповны. Из ее квартиры.

— От какой такой Надежды Филипповны?

— Она же тебе сказала, тридцать восьмая. Это ее номер на работе.

— И ты у нее дома? А что ты там делаешь?

Голос у него звучал снисходительно:

— Картошку помогаю чистить. Обедать будем.

А я уже готов был взорваться:

— Слушай, не валяй дурака! Или толком все объясни, или дай-ка лучше трубку Надежде Филипповне.

Все так же снисходительно он предупредил:

— Как хочешь, только ей некогда, у нее вода закипает.

— Откуда он у вас взялся, Надежда Филипповна? — спросил я, когда она взяла трубку.

— А-а-а! — пропела она. — Это я уже сама потом узнала: товарищи ваши сказали ему счет, чтобы домой в Москву позвонить, а он его, конечно, забыл. Попробовал так заказать, а Москва занята, работы много. Он говорит: а можно — одну минуту по срочному? У меня — рубль. А когда фамилию назвал, я девчонкам и говорю: так это же...

И от сердечной, словно мы с ней сто лет знакомы, простоты в голосе мне вдруг сделалось так спокойно.

— А что ты делаешь, я спрашиваю? — продолжала она рассказывать. — Говорит, город смотрю. А ты обедал? Нет, не обедал. А я как раз собиралась борщ варить. Пойдем, говорю, накормлю тебя, от меня и позвонишь...

Я стал говорить что-то такое: спасибо, мол, большое спасибо, но чего это ни с того ни с сего парня баловать, какой еще борщ!.. Но этот ее тон, не только из-за расстояния не потерявший теплоты, но будто набравший ее еще больше, совершенно обезоруживал.

— О-ой, вы скажете! Ну, какое это летом баловство!.. Наконец-то и к нам пора пришла, все поспело, всего повезли, вы бы на базаре видели. Чего его сейчас не сварить?

Там у них, видно, и в самом деле закипело, кто-то наверняка позвал ее, может быть, Жора, и она опять ойкнула.

— Ну, сбежит! Передаю ему трубочку.

— Слушай! — сказал я уже весело, но как бы и с осуждением. — Ты, я вижу, там неплохо устроился. Он ответил:

— Нормально. А что?

— Да нет, ничего. Как тебе город?

— Громадный город! Я и не думал, что он такой! А ты меня все в Майкоп да в Майкоп!

Ну конечно, это я. И силком отправил его туда. И заставил бросить там дружка, выпросить тридцатку у бабушки, чтобы к девочке в Коктебель слетать, давно не виделись,— тоже я!

А он частил:

— А завод какой! В самом деле — отгрохали!

— Ты уже был там, что ли?

— Дядя Витя сам на бюро, а меня к какому-то дяде в машину посадил, по дороге нам встретился, и он меня провез по заводу, Александр Петрович.

— Какой Александр Петрович? Как фамилия?

— Не знаю. Он сказал, что ты знаешь. Он тебе привет передал.

— Ну и что тебе на заводе — больше всего?  
— Улицы!  
— Нет, на заводе?  
— А я и говорю: «Доменная». «Улица коксохимиков». «Улица сталеваров».

— А-а,— сказал я. — Эти улицы! А еще? Он слегка подумал, я даже представил, как он хмурится, чтобы нужное слово подобрать:

— Понимаешь что: тут все работают!  
— Во-он как! — уже насмешничал я. — А должны были выйти тебя встречать, что ли?

— Нет, просто когда мы были в Краснодаре на практике, там все стояли, курили... Да и в Москве на заводе были. Тоже стоят и курят. А тут работают. Как будто им некогда!

Хотел было его тут же повоспитывать, сказать что-либо суровое о пролетарских — не забывай, брат! — традициях Москвы, но вдруг представил, как улыбается сейчас, рот до ушей, какая-нибудь молоденькая, соединившая их со мной телефонисточка, как она тает вся — бальзам ведь на душу, сукин кот, льет! А то его там не заслужили!..

И я сам расплылся и только сказал ему:

— А ты думал?! Там так.

...Потом она бежала впереди меня, то и дело приседала, еще бы, столько терпеть, даже такой танкер не выдержит, возвращалась, помахивала хвостом, влажной мордочкой тыкалась в колено, заглядывала искоса в лицо, опять по своим делам убежала, деловитой трусцой кружила вокруг деревьев и снова принималась со мной заигрывать: я, мол, слушаю, внимательно слушаю, ты продолжай.

И я продолжал.

Понимаешь, говорил я, какое дело: там так. Ты щенком была, мы тебя только взяли, сами еще не знали — зачем. Ох и плохо нам было!.. И решили лететь. И вот иду я по улице, сгорбился, а мороз! Это тут у нас слякоть. А там зима так зима. Да ты помнишь, какие там зимы! Но это мы с тобой уже после поехали... А тогда я шел, вот так сгорбился, еле плелся, и кто-то толкнул меня и на лицо свое показал, я сперва не сообразил, шел себе дальше, а потом второй меня задел, ткнул вот так пальцем, снова до меня не дошло, пока кто-то, проходя, не сказал торопливо: «Трите, трите!..» Тут я понял: щека! Она у меня давно отморожена. Опять, значит, побелела. Но я тогда туго соображал. Как заторможенный.

А мне уже на ходу подмигнул четвертый и перчаткой провел себе по скуле, а пожилая женщина с сумками в руках, вот ее я прекрасно запомнил, остановилась передо мной, подняла перетянутый платком подбородок: «Что жа ты, милая?!»

Кто тебя и где так еще пожалеет? Как меня тогда в Кемерове. На Советском проспекте.

Мне, собака, стыдно тебе сказать, но я не стал тогда тереть щеку. Я только выпрямился. И шел. И глаза у меня были, наверно, как у тебя. Преданные собачьи глаза. И почти все, ну, поверь, почти все, как ни торопились, порывались мне это, насчет щеки обмороженной, сообщить, а трое лохматых парней остановились, когда уже пробежали мимо, и один крикнул: «Эй, ты!.. Ты что, совсем уже?! Хлѣбальник разотри!» И видок у них был! Такой решительный, как будто сейчас вернутся и сами за мой «хлѣбальник» примутся, если тут же не разотру... Я чуть не плакал тогда, собака! А может, потихоньку и плакал. Там так. Холод, он делает людей лучше. Если он общий. Черт с ним, с хлѣбальником, верно? Да пусть он совсем отмерзнет, если оттаивает душа. А там так. Никогда не трогай лохматых, собака. Никогда! Да и вообще: думай ты про всех про нас хорошо. Долго нет дома, не спеши делать вывод, что про тебя мы забыли. У магазина привязали, не решай, что навек. Оставили на денек у друзей, не подозревай, что мы тебя предали. Кто тебя, недотепа лохматая, предаст?! И если я вчера почти целый день промолчал, это вовсе не значит, что я с тобой и не заговорю теперь больше и дремучая башка твоя и совсем одичает... И не дергайся, и не думай ты еще про нас про всех никогда, что так или иначе всем вам дорога — обратно в лес. Не затем же мы вас из первобытного тогда еще леса тысячами на свет божий вытаскивали, чтобы снова вы потом разбежались и уже без нас издыхали от стронция... Видишь, я о чем?.. Ничего такого просто не может случиться, пока он сидит рядом с женщиной, о которой час назад ничего не знал, и рубает себе этот борщ.

А там пока так.

...И у меня было ощущение, будто мальчишка, мой сын, доплыл. Что достиг наконец-то дальнего берега и там ему протянули руку.

*Новокузнецк — с. Славино —  
Москва — с. Кабякови*



## РАДОСТЬ. ПРИОБЩЕНИЯ

Когда мне хочется доказать оппонентам, как увлекательно можно писать о производстве, о больших стройках нашей страны, я предлагаю книги Гария Немченко.

Производство в его повестях и рассказах не существует отдельно от человека, прозаику не требуется оживлять производственную интригу романа бытовыми или любовными историями по рецепту наших литературных ремесленников, втайне про себя считающих, что чистое производство никому не интересно.

Гарию Немченко, проработавшему на знаменитом Запсибе немало лет, по-настоящему интересна история стройки. Он живет ею, память о ней переполняет его душу. И уже не надуманная, заглавная в прокрустово ложе жанровых обозначений «производственная проза», а до предела искреннее, живое произведение о людях дорогих и близких, о целях их и идеалах — о героях Антоновской площадки — роман «Проникающее ранение» занял свое очень нужное и важное место в современном литературном процессе.

Думаю, что Запсибу здорово повезло: не каждая стройка имеет сегодня своего художественного летописца. Литература и жизнь соединились на этот раз чрезвычайно удачно на пятачке Антоновской площадки, где строился гигант сибирской металлургии. Годы, проведенные на стройке, годы возмужания, становления личности, сформировали и авторскую позицию Гария Немченко. Там он стал писателем. «Металлургстрой» сделал его прозаиком, прозаик затем воспел своего воспитателя.

Откуда же это название романа — «Проникающее ранение»? Авторское объяснение таково: «Проникающее ранение» — вот оно, определение той боли, которая столько лет не затихает во мне и в моих товарищах. Все мы ранены были нашим черным стальным Запсибом. Кто — глубоко и счастливо. Кто — нелепо. Непоправимо. На всю жизнь».

Думается мне, что глубоко счастливы те люди, в которых сидит подобная незатухающая боль. Боль работы. Боль открытия. Боль памяти.

Но как описать все пережитое, все увиденное, все услышанное за время работы в знаменитой многотиражке «Металлургстрой»? Как отделить личное от общезначимого, как нащупать пульс стройки для сотен тысяч не знающих ее читателей?

Как уже говорилось, проза Гария Немченко — о рабочем человеке, а не только о производстве. Впрочем, так и должно быть. Все лучшее в библиотеке рабочего романа выбивается из рамок узковедомственной литературы писателей того поколения, к которому принадлежит Гарий Немченко: и «Территория» Олега Куваева, и «Шахта» Александра Плетнева, и «Место действия» Александра Проханова...

Роман «Проникающее ранение» держится не на хорошо разработанном сюжете, нет в нем и главных героев. Вернее, их много — и сюжетов, и героев, но объединяет произведение авторская режиссура Гария Немченко. Это лирическая производственная проза. Странное, на первый взгляд, сочетание слов — лирическая и производственная. Можно заменить их единым обозначением — авторская проза.

Гарий Немченко пишет только о том, что сам пережил, испытал, прочувствовал. Островки реальности он объединяет воспоминаниями и рассказами бывалых людей, ветеранов стройки, легендами и бывальщинами, фольклором Антоновской площадки. Потому и популярна сегодня такая авторская проза, что она прежде всего обнаженно личностна. Читатель всегда тянется к литературе, где автор является не только сочинителем, но и главным персонажем. Жизнь самого Гария Немченко, его работа в газете стройки, его поездки на комбинат годы спустя становятся как бы сюжетным центром романа «Проникающее ранение». Выявляется не только чисто информативный интерес к жизни автора-персонажа, но и возможность художественного обобщения этой жизни. Биография переходит в творчество. Нить автобиографизма пронизывает всю ткань романа. И уже не исповедальность вымышленных героев видим мы в авторской прозе Гария Немченко, а подтвержденную фактами биографии, документами, реальными собеседниками исповедальность самого автора.

Ясно, что перед нами не традиционный роман, а, скажем, роман-летопись. На правах летописца включил Гарий Немченко полюбившиеся ему истории в свою рукопись. Двенадцать лучших лет молодости прожил Гарий Немченко в Новокузнецке. Те самые годы, когда человек взрослеет, обретает чувство ответственности, влюбляется, обзаводится семьей, и традициями, и привычками, всем тем, что называется образом жизни. Потому и не внял советам друзей — не писать о стройке — Гарий Немченко, что отказаться от Антоновской площадки, места строительства Западно-Сибирского металлургического комплекса, для него все равно что отказаться от самого себя. На память кубанского детства наложилась действенная, не созерцающая, а созидаящая память работы на «Металлургстрое».

И, не отвергая родную Кубань, которой посвящены десятки страниц в романе, автор сравнивает, сопоставляет самые разные районы нашей страны, давшие ему богатейший жизненный материал. Москву, Кубань, станицу Отрадную, где он родился за пять лет до войны, Новокузнецк, под вымышленным именем Сталегорск, опять Кубань и Новокузнецк, Кемерово, Краснодар и снова Новокузнецк...

Начав писать художественную прозу после многих лет работы в газете, Гарий Немченко поначалу боялся документальности. Ему казалось, что литература — это нечто противоположное журналистике.

Он старался больше придумать и приукрасить. Так вместо Новокузнецка появился Сталегорск, стали публиковаться романтические истории о строителях, прорабах, проектировщиках. Но при всей обобщенности рассказанных историй автор чувствовал недостаток правды о стройке. И он выбрал свой путь — верность конкретным фактам. Очевидно, такова природа писательского дарования Гария Немченко. Опыт своего поколения, первого послевоенного поколения, пришедшего сегодня, в восьмидесятые годы, к наивысшей зрелости, писатель доносит до читателя с помощью документа, невыдуманных историй, авторской исповедальности. Пройдя через искру чистого вымысла, он возвращается к реальным героям. При этом оживает дух стройки, в нее начинаешь верить, ее принимаешь в свое сердце.

«Антоновка — это страна твоей молодости. Не очень устроенная, конечно. Но зато бескорыстная и свободная... У каждого должна быть такая страна, куда всегда потом можно вернуться, когда тебе станет отчего-либо плохо или заболит душа». В такую страну можно вернуться или самому, или же взяв с собой сотни тысяч читателей. А стоит ли этого «страна молодости», найдет ли каждый из них для себя крупицу своего идеала, своего героя? Думаю, найдет. Те высокие нравственные идеалы, которые были заложены за время работы на Антоновской площадке, распространились по завершении строительства и на все другие стройки вместе с их носителями — ветеранами Запсиба. И уже дети приезжают спустя годы в Новокузнецк посмотреть на места легендарной молодости их родителей, вдохнуть в себя высокую романтику труда.

Рассказывая свои заводские истории, Гарий Немченко сознательно выдвигает на первый план добрых и неунывающих людей и очень неохотно предоставляет место отрицательным персонажам. Не приукрашивая летопись стройки, не идеализируя ее героев, он оставляет в стороне все мешающее этим людям жить. И удивительное дело, из этих лирических рассказов вырастает реальная картина стройки.

А может быть, только так и получается настоящая производственная проза? Когда нет деления на жизнь дома и жизнь на работе, когда одно органично вырастает из другого. Все взаимосвязано. И соединяет все воедино — стройка. Люди, ею взращенные. Не любящие громких слов о небывалых трудовых подвигах, а просто работающие как надо и сколько надо. Не ради славы, не только ради денег, а прежде всего ради самой работы, без которой жизнь любого человека становится крайне обедненной. Есть же, существует на самом деле, а не только в штампованных журналистских формулировках, радость приобщения к большому делу, ощущение своей стройки, гордость за все сделанное человеком труда. Уже много лет спустя, в пору написания романа, Гарий Немченко скажет: «Может, той прямодушной веры, которая и самим нам теперь кажется порою наивной, может, как раз ее так нынче многим из нас и не хватает?..»

Как всякая талантливая проза, проза Гария Немченко шире накладываемых на нее критиками жанровых ограничений. Да, производственная проза. Да, авторская проза. И в конце концов просто проза о человеке, не желающем существовать только бытом, только мелкими удовольствиями. Сегодня, когда в литературе ведется так много споров о положительном герое, вспомнимся внимательнее в героев Гария Немченко. Они верят в добро, верят в трудовую миссию человека, и автор всегда остается на их стороне.

Владимир БОНДАРЕНКО

**Гарий Леонтьевич Немченко**

**ПРОНИКАЮЩЕЕ РАНИЕ**

Р о м а н

Редактор Г. ПАНКРАТОВА

---

Художественный редактор С. Гераскевич      Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректоры Г. Асланянц, Л. Сахарова

© Фото Ю. Багрянского

Сдано в набор 21.09.84. Подписано в печать 02.11.84. А13961. Формат 84×108<sup>1/8</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4, Усл. кр.-отт. 9,24. Уч.-изд. л. 11,71. Тираж 2 000 000 экз. (1-й завод 1—500 000 экз.). Заказ 1585. Цена 1 р. 03 к.

Наш адрес: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19  
ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»

---

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Рукописи ранее не опубликованных произведений не рассматриваются.

**В первом номере  
«Роман-газеты»  
читайте  
вторую книгу романа  
АЛЕКСАНДРА ЧАКОВСКОГО  
«НЕОКОНЧЕННЫЙ ПОРТРЕТ»**

Ключевыми событиями второй книги романа являются Тегеранская и Ялтинская конференции — важнейшие вехи в дипломатических отношениях трех великих держав: СССР, США и Англии.

В романе отражены разные этапы жизни американского президента Франклина Делано Рузвельта, показано ближайшее окружение президента, известные политические деятели разных стран.

«У Америки с Россией есть глубокие общие интересы, связанные с их безопасностью. А если так, то эти интересы можно использовать к выгоде обеих стран», — такова, как считает писатель, была основа политики Рузвельта по отношению к Советской России. В романе ставятся коренные вопросы мирного сосуществования государств с различными политическими системами, извлекаются из фактов истории уроки для современности.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
Валерий ГАНИЧЕВ

---

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Георгий БЕРДНИКОВ, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУНОВ (заместитель главного редактора), Олесь ГОНЧАР, Даниил ГРАНИН, Геннадий ГУСЕВ, Сергей ЗАЛЫГИН, Феликс КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Василий НОВИКОВ, Евгений НОСОВ, Александр ОВЧАРЕНКО, Петр ПРОСКУРИН, Валентин РАСПУТИН, Александр РЖЕШЕВСКИЙ (ответственный секретарь), Сергей САРТАКОВ, Андрей САХАРОВ

**В 1984 ГОДУ  
В «РОМАН-ГАЗЕТЕ»  
ОПУБЛИКОВАНЫ  
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:**

- № 1. М. Домогацких «ЮЖНЕЕ РЕКИ БЕНХАЙ». Политический роман.
- № 2. А. Иванов «ПОВЕСТЬ О НЕСБЫВШЕЙСЯ ЛЮБВИ».
- № 3. И. Тарба «ГЛАЗА МОЕЙ МАТЕРИ». Роман. С абхазского.
- № 4. С. Гагарин «ТРИ ЛИЦА ЯНУСА». Повесть. С. Высоцкий «СРЕДА ОБИТАНИЯ». Роман.
- № 5. А. Чаковский «НЕОКОНЧЕННЫЙ ПОРТРЕТ». Роман.
- № 6. А. Лиханов «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ». Повести.
- № 7-8. Г. Семенихин «НОВОЧЕРКАССК». Роман.
- № 9. В. Пикуль «РЕКВИЕМ КАРАВАНУ PQ-17». Документальная трагедия.
- № 10-11. А. Сизоненко «СТЕПЬ». Роман. С украинского.
- № 12. Л. Фролов «СВАТОВСТВО». Повести.
- № 13. Ю. Семенов «ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ». Роман.
- № 14. А. Казанцев «КУПОЛ НАДЕЖДЫ». Роман-мечта.
- № 15-16. Н. Задорнов «ГОНКОНГ». Роман.
- № 17. В. Распутин «ВЕК ЖИВИ — ВЕК ЛЮБИ».
- № 18. М. Годенко «ПОТАЕННОЕ СУДНО». Роман.
- № 19. Ф. Абрамов «ТРАВА-МУРАВА». Повести.
- № 20. В. Коротич «НЕНАВИСТЬ». Роман в письмах.
- № 21. В. Уэйрюзов «ОТЦОВСКИЙ ШТУРВАЛ». Повести.
- № 22. Л. Князев «МОРСКОЙ ПРОТЕСТ». Роман.
- № 23. И. Филоненко «ХЛЕБОПАШЕЦ». Повесть.
- № 24. Г. Немченко «ПРОНИКАЮЩЕЕ РАНЕНИЕ». Роман.